

Лидия
ЧАРСКАЯ

*Повести
и рассказы*



Лидия Алексеевна Чарская

На всю жизнь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=635535

Лидия Чарская. Собрание сочинений:

Аннотация

У меня появилась тайна, в которую посвящены лишь двое: Галка и я. Пока Борис на службе, я исписала несколько листов своим крупным мальчишеским почерком, вложила их в огромный конверт, написала на нем адрес и большими буквами поставила «заказное». Это письмо – мой смелый и дерзкий замысел. Я думаю о нем все время, пока Галка шагает по снежной дороге в городской почтамт...

Содержание

Часть первая	4
Часть вторая	134
Часть третья	211

Лидия Алексеевна Чарская

На всю жизнь

Часть первая

Сегодня выпуск. С вечера никто не ложился, и майский день застаёт нас на ногах. В раскрытые окна дортуара врывается птичий гомон и солнце.

Высокая, полная, с черной кудрявой головой, Зина Бухарина, прозванная Креолкой, сооружает перед трюмо сложную прическу. Чахоточная, хрупкая Миля Рант, Стрекоза, помогает ей в этом. Красавица Черкешенка, Елена Гордская, моя любимица, расчесывает у окна черные косы и мурлычет какой-то романс. Толстушка Додошка Даурская, хохотушка и лакомка, с набитым леденцами ртом вертится подле моей постели, на которой разложено легкое белое платье.

Между нами, выпускными, было давно уже решено не делать нарядных платьев ко дню акта, с тем чтобы предназначенные на это деньги пожертвовать на поездку и лечение нашей больной классной дамы фрейлейн Фюрст; но наши баловники, родные, не пожелали лишить нас удовольствия, и более богатые дали возможность менее состоятельным семьям одеть их детей в традиционный актовый наряд.

Больная же классная дама получила возможность лечить-

ся на юге.

Мой костюм удался на славу. Разложенное на постели белое платье оказалось чудом красоты. Вокруг него теснились подруги и, громко ахая, восхищались вкусом моей мачехи, «мамы Нэлли».

Ольга Елецкая, по прозвищу Лотос, высокая черноволосая девушка, большая фантазерка, восхищалась больше других.

Впрочем, на этот раз даже такие серьезные особы, как «профессорша», Женя Бутусина, Вера Дебицкая, первые ученицы, и степенная Старжевская, наравне с шумными маленькими сестричками Пантаровыми – Лизой и Женей и веселой хохлушкой из Киева Марой Масальской, «невестой» (она действительно была невестой одного киевского помещика), окружали мою постель.

Хохлушка Мара суетилась больше всех.

– Лида! Вороненок, Лидочка! Шляпу покажи нам теперь, шляпу! – молила она.

Моя выпускная шляпа – мой секрет.

Вчера, когда мама-Нэлли привезла мне ее и показала на утреннем приеме, я даже вскрикнула от восторга. Со всем скромная шляпа, а между тем, говорят, «папа-Солнышко» (так я с самого раннего детства называю моего отца) рассердился, когда ее увидел:

– Для молоденькой девочки – этот мрак! Зачем это?

Шляпу хотели переменить, но я вцепилась в нее, как го-

ворится, руками и ногами.

– Ах, нет, нет! Оставьте ее, пожалуйста. В ней столько красивого замысла, столько значения! – молила я.

И шляпу оставили, к восторгу моих одноклассниц.

– Скорее! Скорее! Хохлушка, открывай, открывай! – слышатся нетерпеливые возгласы.

– Дети мои, не делайте из почтенного дортуара толкуче-го рынка, с позволения сказать, – роняет Сима Эльская, по-крывая своим звучным контральто все остальные голоса.

– «Кочерга» на горизонте! – появляясь на пороге, выкри-кивает Катя Макарова.

– Спасайся кто может! – вопит Додошка и лезет под кро-вать.

– Здорово нам влетит, что до звонка встали, – слышится чей-то шепот.

– Дурочки, ведь сегодня выпуск! – кричу я. – А через пять-шесть часов мы вольные птицы, и никакие «кочерги» в мире не смогут принести нам вреда.

– Они рехнулись, – пожимает плечами Сима, – одержи-мые какие-то, право! Будут перед классными дамами тру-сить до гробовой доски.

– Действительно, никто не посмеет нам сделать замечания сегодня, – улыбается Зина.

– Ну, душка, тебя с такой головою под кран пошлют кудри размачивать – произносит младшая Пантарова, Женя? или Малявка, прозванная так за крошечный рост.

– Отроковица Евгения, не завидуй чужому благу! – голо-
сом дьякона на амвоне басит Сима, или Волька по прозвищу.

– А какие мы дети, в сущности! – тянет Черкешенка, не
отрывая взгляда от голубого простора в окне. – В полдень
свободные гражданки, а утром боимся «кочерги»!

– Побоишься здесь, когда...

Тут Рант корчит уморительную гримасу, собрав в частые
складки свое лицо. И внезапно это худенькое личико делает-
ся карикатурно похожим на сморщенные, точно печеное яб-
локо, черты нашей главной гонительницы, инспектрисы. Ми-
ля склоняет свою изящную фигурку на один бок и, немилос-
сердно теребя цепочку от креста, вытянутую поверх перед-
ника, скрипучим голосом тянет в нос:

– Первые, опять! Уймитесь, первые! И когда только вас
выпустят наконец! Мальчишки! Разбойники! Эти первые
портят весь корректный строй института! Да!

Взрыв хохота покрывает ее слова.

– Ха-ха-ха-ха! Как похожа!

Она действительно бесподобна со своей подражательной
способностью, эта Рант. Воочию предстает, как живая, ин-
спектриса.

От смеха мы несколько минут не можем произнести ни
слова. Вдруг раздается голос Макаровой:

– Она идет, mesdames! «Кочерга» идет!

– Фальшивая тревога. Ты врешь, Катя! – кричит Сима.

– Нет, правда! – испуганно произносит Макарова.

– Ах, пусть войдет. Я люблю ее. Да, я люблю ее сегодня! – кричу я громко. – Люблю ее сегодня, люблю газовщика Кузьму, повара, люблю весь мир, потому что сегодня первый день нашей свободы, потому что жизнь прекрасна, небо синее, солнце – золотое море, и душа моя полна чарующей песни без слов. Да, я люблю ее. Горю желанием поцеловать ее морщинистое лицо и...

Тут я с жестом владетельной принцессы обращаюсь к подругам:

– Не мешайте ей войти, друзья мои. Я жажду ее видеть и расцеловать ее милые щеки.

– Лидка! Угорелая! Ты с ума сошла!

Я не успеваю произнести ни слова, потому что в эту минуту Мара с благоговением вынимает шляпу из картонки и вскрикивает:

– Шляпа, месдамочки, шляпа!

– Бабы тряпки. Труха! – отчеканивает Сима.

Что-то белое, воздушное, из ажурной серебристой соломы в виде коронки, сшитой полукругом, над чем небрежно наброшены два черных крыла.

– Какая прелесть!

– Венец поэту! – восторженно лепечет Черкешенка.

Я краснею. Уж эта мне Черкешенка. Зачем она подчеркивает, что я пишу плохие стихи?

– Пожалуйста, не лести Вороненку. Гляди, у нее и без тебя клюв от самомнения вытянулся на четыре дюйма, – острит

Сима.

– Черкешенка права, – говорит Креолка, – и этой серебряной царственной тиарой я предлагаю увенчать стриженую голову Вороненка, а за это потребовать у нее речь.

– Конечно! Конечно! – оглушают меня остальные.

Я смущаюсь и, чтобы как-нибудь выйти из глупого положения, ухарски, задом наперед напяливаю шляпу, причем черные крылья зловеще трясутся над моим лицом, подбочиваюсь, делаю разбойничье лицо и, вскакивая на табурет, начинаю:

– Друзья мои! Сегодня мы, как вольные птицы, разлетимся во все стороны России, а может быть, и по всему земному шару. И Бог весть, встретимся ли мы когда-нибудь вновь. Многие из нас добьются, может быть, высокого положения, славы. Многие, может быть, будут богаты...

– Додошка откроет собственную кондитерскую, это верно, как шоколад, – возвещает Сима.

Кто-то фыркает. Но тотчас же зарождающийся смех подавляется дружным шиканьем остальных.

– Дайте же закончить речь Вороненку!

– Друзья мои, – подхватываю я, – через какие-нибудь пять-шесть часов все мы, Вольки, Креолки, Малявки, Черкешенки, Мушки, Киськи, Брыськи, Лотосы, Додошки и прочие, перестанем быть тем, чем были до сих пор, и перед нами широко распахнутся огромные ворота жизни. Мы войдем через них, гордые, сильные, свежие и юные, в большой

мир. Бог знает, что ждет нас за этим заповедным порогом. Может быть, те, кто заслуживает много, много счастья, радости и утехи, получают одни лишь тернии себе в удел. Может быть, многие изнемогут в борьбе, почувствуют упадок энергии, силы. Тогда, друзья мои, вспомним это дивное синее утро, эти волны майского воздуха, это золотое солнечное море и праздник юных девушек, готовых вырваться на свободу, и подкрепим себя мыслью, что в разных уголках большого мира у каждой из нас есть еще тридцать девять сестер, которые готовы прийти на помощь по первому крику изнемогающей в борьбе с жизнью подруги. Не так ли, милые сестры? – заканчиваю я свою речь.

На минуту тишина водворяется в дортуаре. Все дышат взволнованно. С головы моей давно слетела так пленявшая всех тиара-шляпа и лежит теперь, забытая, на полу, в пыли. Никто и не замечает этого. Все углублены в собственные мысли.

Бог весть, что ждет нас за порогом нашей институтской клетки, где мы провели, худо ли, хорошо ли, семь безмятежных детских лет без особых забот и печалей. Детство конечно, и мы вступаем в жизнь. Каков-то будет путь этих тридцати девяти юных девушек, которые мне дороги, как сестры? Не подстерегает ли нас всех чудовищный зверь – судьба? Мне делается жутко до боли. Расстаться с моими друзьями так скоро, сегодня, через несколько часов! Слезы обжигают мои глаза.

– Все это прекрасно. Но зачем же рюмить, однако? – слышу я у своего уха Симин голос. – Слезоточение здесь не при чем.

– Ах, правда, Сима, правда. Мы должны войти в мир борцами, а не жалкими слабыми тряпками. Ты права!

А кругом уже загорается жизнь.

– Лида, Вороненок правду говорит. Мир, борьба, горе, все может быть. Но мы сестры. Мы должны дать слово друг другу помнить и любить вечно. А в трудные минуты помочь, поддержать. Да!

Впечатлительные плачут, повторяя одно и то же: «Сестры... сестры». Другие кричат, не слушая друг друга:

– Мы будем переписываться. Дадим адреса.

– Мы...

– «Кочерга» за дверью! И на сей раз это уже бесспорно, – кричит Сима. – Увы нам! – доканчивает она, взмахивая руками.

Действительно, на пороге появляется маленькая, сгорбленная фигурка инспектрисы, m-Пе Ефросьевой, нашего непримиримого врага.

– Опять ярмарка! – слышится ее скрипучий голос, и в презрительной гримасе морщится и без того морщинистое лицо. – Первые, опять! Просто наказание! Уймьтесь, первые! И когда только вас выпустят наконец, мальчишки, разбойники, бунтари!

Додошка взвизгивает и валится на кровать, дрыгая нога-

ми. Сима фыркает и делает «разбойничьи» глаза. Зина Бухарина, как бы нечаянно, набрасывает ночной чепец на свою великолепную прическу и завязывает его тесемочки под подбородком.

– Что вы, голландка, что ли? – шипит, заметив ее маневр, «кочерга».

– Нет, я из Иерусалима, – делая невинное лицо, отвечает Креолка, отец которой действительно служил недавно консулом в Палестине.

– Тогда зачем этот голландский убор?

И крючковатые пальцы, протянувшись к курчавой головке, бесцеремонно стаскивают с нее злополучный чепец.

– Что? Бараном? Опять завивка? Под кран и тотчас же размочить эту гадость! – скрипит неумолимый голос нашей мучительницы.

– Но ведь сегодня, слава Богу, выпуск! – возмущается Додошка.

– Даурская, – встать! – приказывает инспектриса.

– Какая душка! Сморчок! И ты хотела ее поцеловать! – шепчет Сима, трясясь от смеха.

– И поцелую! – упрямо решаю я.

Что-то веселое врывается мне в душу.

– И поцелую, – повторяю я.

Шаловливая мысль толкает меня вперед. Что будет потом, я соображаю плохо. Когда один из моих проказников-бесенят захватывает меня, противиться ему я уже не в силах.

– Лида, душка. Перестань, не надо, – испуганно шепчет Черкешенка.

Но никакие силы уже не могут меня удержать. В следующую же минуту я стою перед инспектрисой.

– М-ле Ефросьева, М-ле Ефросьева, позвольте мне на прощанье вас поцеловать!

– Что?! Что вы сказали?!

«Кочерга» сначала бледнеет. Даже кончик ее крючковатого носа делается мертвенно белым. Потом краснеет густым старческим румянцем все ее морщинистое лицо. Зло смотрят на меня ее маленькие щелочки-глазки. Рука теребит по привычке длинную цепь от часов.

– Опять эти первые. Вечные глупости. Эти первые портят весь корректный строй института.

Она поворачивает к нам спину и, припадая на правую ногу всей своей кривобокой фигурой, демонстративно хлопнув дверью, исчезает за порогом дортуара.

– Сорвалось! – кричу я и с хохотом падаю возле визжащей от восторга Додошки.

* * *

Мы в церкви. Как торжественно и нарядно выглядит сегодня наш институтский храм! Накануне мы убрали гирляндами из живых цветов все образа иконостаса. Бесчисленные свечи и лампы теряются при ярком свете майского утра.

На парадном месте, посреди пушистого ковра, стоит начальница. За нею теснятся синие вицмундиры учителей. Все здесь: вон красивый, с лицом русского боярина, словесник Чудицкий, так прекрасно читающий вслух лермонтовские поэмы; вон умный и строгий историк Стурло; дальше желчный физик, беспрерывно сыплющий единицами; за ним застенчивый математик Зинзерин, «Аполлон Бельведерский», объект обожания стольких институтских сердец, добрый старик француз, – все они почтили своим присутствием наше торжество. По правую руку начальницы – почетные опекуны в их залитых золотом мундирах, по левую – инспектор, инспектриса, все ближайшее институтское начальство и толпа приглашенных почетных гостей.

Наша татап притягивает к себе все взоры. Баронесса-начальница ходит последнее время, тяжело опираясь на палку. Но от этого не менее величественна ее фигура, а в бело-розовом лице, обрамленном серебряными сединами, что-то властное и непоколебимое; зорко смотрят еще молодые глаза и как будто видят нас насквозь.

– Екатерина Великая! Удивительное сходство – слышится восторженный шепот.

Там, в этой толпе, находятся и «они». Я незаметно поворачиваю голову и вижу их: моего папу-Солнышко в парадном мундире, маму-Нэлли в нарядном шелковом платье и маленькое существо в белом матросском костюме – одного из моих братишек.

Как хорошо, что они приехала все трое! Как хорошо!

Певчие сегодня поют изумительно. Проникновенно и как-то особенно звучит голос отца Василия под сводами церкви.

Сорок белых девушек стоят посреди церкви. Сердца горят и бьются. Еще час-другой, и мы разлетимся в разные стороны и, пожалуй, вряд ли встретимся когда-нибудь, или встретимся слишком поздно, когда лучшие надежды и грезы разобьются о сотни темных преград.

В церкви становится душно и от собственных мыслей, и от волнения, и от запаха живых цветов, умирающих в бутоньерках у нас на груди.

Елочка-Лотос, моя соседка с левой стороны, заметно бледнеет и, пошатываясь, направляется к стулу. Усталые глаза Елецкой меркнут, тускнеют, ни кровинки в побелевших губах.

– Выпейте воды! – шепчет ей m-lle Эллис и заслоняет девушку от любопытных глаз.

– Батюшка проповедь сейчас скажет, – шепчет мне Сима. – Ты не находишь, Вороненок, что сегодня мы будто приобщаемся Святых Тайн, точно в Великую Субботу?

– Приобщаемся к жизни, – мечтательно вторит позади нас Черкешенка, поймавшая чутким ухом вопрос.

– Только, чур, прежде времени не скисать, – шепотом командует Сима. – Знаю я вас, утриносиц. Слова порядочному человеку не дадите сказать, сейчас расчувствуетесь, повытянете платки из кармана – и ну трубить на всю церковь!

А у самой Вольки глаза влажные.

– Сима, – говорю я ей, – Сима, мы должны встречаться с тобой часто-часто! Слышишь? Во что бы то ни стало? Да?

Она прикрывает лицо пелеринкой и корчит одну из своих обычных гримас.

– Удивительно, или я еще недостаточно надоела тебе до сих пор в институте?

Но голубой огонь ее глаз говорит совсем другое.

– Ш-ш! – шикает классная дама. – Перестаньте болтать.

– Последнее замечание в институте, – шепчет позади нас Зина Бухарина. – Чувствуете ли вы это?

Не знаю, что чувствуют они, но мне грустно. Мне жаль этих белых стен, этой скромной церковки, где столько раз я повергалась ниц перед экзаменами, умоляя всех святых угодников не оставить меня в трудную минуту. Мне жаль этих стен моей семилетней тюрьмы и этих милых девушек. Жаль красивую, строгую, но внимательную к нам, воспитанницам, начальницу, жаль вспыльчивую, как порох, но добрую m-lle Эллис.

А отец Василий точно угадывает мои мысли. В его проповеди, обращенной к нам, уезжающим, столько заботы о нас и доброты.

– Бог весть, что ждет вас за институтскими стенами, дети! – гремит теперь на всю церковь его обычно тихий голос. – Но помните каждую минуту, в радости ли, в горе ли, среди темных ли, бурных волн житейского моря или на глад-

кой, ровной поверхности более спокойного существования, помните всегда Его, Того, Кто шлет испытания и радость; Того, Кто Первый и Высший Защитник ваш и Покровитель на земле. Не забывайте Его. Прибегайте к Нему с молитвою. А еще будьте милосердны, дети, забывайте себя ради других, старайтесь сеять добро и счастье. Многим из вас предстоит нелегкая воспитательная задача. Несите достойно и честно великое знамя труда. Воспитывайте так маленьких людей, чтобы они со временем могли приносить в свою очередь посильную пользу. Сейте доброе семя в восприимчивые детские души, и да послужат они основанием прочному и красивому духовному росту ваших воспитанников!

Мы все глубоко потрясены. Многие плачут. Даже среди приглашенных мелькают взволнованные, окропленные слезами лица.

У сорока девушек лица сияют. Увлажненные милые глазки, светлые улыбки, и в них беспредельная готовность пожертвовать собою ради счастья других.

– Как хорошо!

Синее небо сверкает сквозь стеклянный купол храма. Золотые потоки солнца льются прямо на нас. Червонно горит, поблескивая, позолота риз на амвоне. А там, впереди, тонкий худощавый священник, с побледневшим вдохновенным лицом, мудро, ярко и красиво говорит нам о вечной, прекрасной, самоотверженной любви ко всему миру.

Как и чем закончилась проповедь, как подходили цело-

вать крест и как нас кропили святою водой под громкое и торжественное «Многая лета», – все это я помню смутно.

Кончалась сказка преддверия жизни, и сама жизнь вступала на ее место. Жизнь стучалась у порога и точно торопила нас. И сорок юных девушек спешили к ней навстречу...

– В залу, mesdames, в залу! Завтракать! – несется призывно из конца в конец по большой столовой.

Кто может завтракать в это утро? Мы давимся куском горячий кулебяки с рыбой, обжигаясь, глотаем горячий шоколад. Даже Додошке Даурской, известной лакомке, ничто не идет в горло.

С ближайших «столов» сбежались младшие классы, несмотря на строгое запрещение их классных дам оставлять места.

Это «обожательницы» и «друзья» нас, старших.

Особенно густа их толпа вокруг Симы Эльской. Она пользуется исключительной популярностью среди малышей.

– Гулливер среди лиллипутов! – в последний раз повторяет кто-то из нас прозвище нашей общей любимицы и ее маленького стада.

Происходит обмен карточками, передача адресов. Горячие клятвы звучат то здесь, то там.

Тоненькая маленькая девочка с фарфоровым личиком, из «сеньмушек», широко раскрывая глаза, затопленные слезами, шепчет, обращаясь к Симе:

– Не забывайте, m-lle дуся, бедную Муську.

– И Анночку Зяблину тоже, – вторит ей другой голосок.

– И Мари. И Мари, ради Бога!

Васильковые глаза самой миловидной «шестушки», Сони Сахаровой, поднимаются на Эльскую.

– Как я любила вас, m-lle Симочка-дуся! Как лю-би-ла!

– И я! И я! До самой смерти любить вас буду!

– Смотрите, дуся ангел: она ваш вензель выцарапала на руке булавкой.

– Милая дурочка! Какое безумие! – возмущается Сима.

У каждой из нас есть свои поклонницы. Даже у Додошки. Даже у степенной и строгой Старжевской, у «монахини» Карской, и у «профессорши» Бутулиной, нашей второй ученицы.

Славные, наивные девочки, такие непосредственные, с разгоревшимися от слез лицами – не оплакивайте же нас, как мертвых, милые! Ведь мы идем прямо в жизнь!

Трепещущие, по широкой «парадной» лестнице поднимаемся мы в залу. Впереди нас – другие классы, весь институт. Там все уже в сборе, когда входим мы, виновницы торжества, в белых тонких батистовых передниках поверх новых зеленых камлотовых платьев, с бутоньерками на груди. Громкие аккорды марша, вырывающиеся из-под рук восьми лучших музыкантш-второклассниц, летят нам навстречу.

Посреди залы – пушистый ковер как раз против длинного стола, вокруг которого разместился весь «синедрион»: почетные опекуны, начальство, учительский персонал, свя-

щенник. За ними – приглашенные. Я с трудом отыскиваю среди них папу-Солнышко, брата Павлика, маму.

На красном сукне разложены награды, книги, аттестаты, Евангелия и молитвенники, которые предназначены для нас, выпускных.

Пожилой инспектор поднимается с места и оглашает имена счастливиц, получивших медали.

– Дебицкая, Бутусина, Старжевская.

Теперь на них смотрит вся зала.

– Которая? Которая? – слышится сдержанный шепот в толпе.

Первая ученица совсем особенная у нас: у Веры Дебицкой лукавое личико, бойкие глазки. Она точно играет в примерную воспитанницу, а в мыслях у нее вечные проекты проказ. Вот она у стола отвешивает низкий реверанс, принимает аттестат из рук инспектора (медали «первые» уже получили раньше из рук высокой покровительницы института во дворце), снова плавно приседает и спешит на место.

За ней Бутусина, Старжевская и другие «наградные». Потом только «аттестатные». Этим вызывают по алфавиту.

С замиранием сердца жду я своей очереди. Сотни глаз впиваются в каждую из нас, пока мы проходим длинное пространство, отделяющее почетное место выпускных от «наградного» стола и начальства.

Вдруг подле меня слышится отчаянный шепот Мары Масьской:

– Лидочка, Вороненок, взгляни, на милость! Стурло-то, Стурло как буркалы вытаращил! Прямо под ноги смотрит! Ну как тут пойдешь!

– Действительно, «история» вытаращилась на славу, – смеется Сима, беспечно глянув на нашего учителя истории. – Ну, да нам не трусить же теперь. Да и глупо бояться. Руки небось коротки. Не достать. Через час на воле мы, и тю-тю.

– Ай, страшно, месдамочки! Я не пойду! – тихо повизгивает Додошка. – Бог с ним, с аттестатом. Возьму после. Стурло глазища как пялит! Смерть!

– Госпожа Елецкая! – слышится у стола. Бедная Елочка идет через залу, сверкая своими фосфорическими глазами, грациозно склоняется своей гибкой фигуркой и возвращается на место.

– Госпожа Даурская! – слышится снова.

– Не пойду! – отчаянно шепчет Додошка. – Хоть убейте меня, не пойду!

– Что ты, Даурская? Как можно! Не срами нас! – возмущаемся мы.

– О, как он тарашится!

Стекловидные глаза историка рассеянно устремлены вперед в глубокой задумчивости, точно в забытьи. Весь этот парад с выпуском, очевидно, утомил бедного труженика, с утра до вечера бегающего по урокам. Но нам, привыкшим трепетать перед строгим учителем, и сейчас его взгляд кажется

каким-то зловещим.

– Госпожа Даурская! – повышая голос, повторяет инспектор, удивленно приподнимая брови.

– Не пойду! Хоть убейте, не пойду. Если пойду, растянусь посреди залы. Точно, месдамочки, растянусь, – слышится отчаянный шепот.

– Додошка! Иди же!

Среди начальства недоумение: куда девалась выпускная, не являющаяся получать аттестат? Несколько рук протягивается к Даурской.

– Иди же! Иди! Это невозможно! – подталкиваем мы ее.

Наконец из толпы выкатывается толстененькая, низенькая фигурка.

– Сейчас умру! – успевает она шепнуть еще раз и, красная, как пион, катится дальше.

Стурло смотрит. Додошка приближается. Вот она уже близко! Вот... Ах!

Противный угол ковра. Как он подвернулся некстати.

Додошка прыгает и растягивается плашмя у «наградного» стола, у самых ног Стурло.

Почетный опекун срывается с места. За ним учителя. Застенчивый Зинзерин и высокий Чудицкий спешат на помощь девочке.

В толпе смех.

Малиновая от смущения, Додошка плачет.

– О, негодный Стурло! Я говорила! Я говорила! – шепчет

она, рыдая, по возвращении назад.

– Брось, Додик. Что значит одна лишняя шишка в сравнении с нашим выпуском! – философски резюмирует Сима.

– Осрамилась я, – стонет Додошка.

Мы поем.

Поем наш последний привет этим стенам, этим людям, друг другу – последнее наше прощанье в словах кантаты: «На вечную разлуку, подруги, прощайте. Пред нами раскрылась широкая дверь...»

В толпе начальства волнение. Madam начальница подносит батистовый платок к глазам. Вздрагивают ее полные плечи.

И среди публики многие плачут тоже. Рыдает, упав головой на плечо старшей дочери, худенькая старушка, мать Елецкой. Глаза мамы-Нэлли тоже полны слез.

Что-то щекочет мне горло. О, если бы еще денек не расставаться с этими поющими, милыми девушками! Один только денек!

Но вот мы смолкаем. Слезы подступили к горлу, дальше петь невозможно. Мамап подходит к учителям и опекунам, обнимает каждую из нас, целует. Слезы наши смешались. Теперь мамап уже не прежняя строгая начальница, теперь она нежная, добрая мать.

– Смотрите, у кого горе будет какое, мне пишите. Слышите, милые? А то прямо сюда, под крылышко вашей старой ворчуньи. Она, поверьте, всегда примет участие в вашем го-

ре, – шепчет татап сквозь слезы.

Все растроганы. Все сдерживают рыдания. Учителя протягивают нам руки. Белые, выхолненные пальцы Чудицкого сжимают мою руку.

– Помните, госпожа Воронская: не надо закапывать в землю Богом данное дарование.

Это он о моей способности писать дурную прозу и скверные стихи.

– Со временем может развиться и разгореться искорка, – поучает он.

– А вы, моя милая художница, – говорит учитель рисования, высокий, белый как лунь старик Зине Бухариной, – вы то уж не забрасывайте своего таланта.

– Госпожа Даурская, – угрюмо шутит хмурый Стурло, – помните, что Крещение Руси было в девятьсот восемьдесят восьмом году.

– А ну вас! – отмахивается та. – Из-за вас растянулась только. И чего смотрели!

Уши инспектриссы «скандализованы» таким ответом. Ей хочется осадить дерзкую, но – увы! – мы уже одной ногой на воле, и с этим приходится считаться. И «кочерга» нервнее, чем когда-либо, вертит цепочку, морщит лицо и скрипит:

– Ну вот и дождалась! Вот и кончили курс! Помните только все, чему вас здесь учили. А главное – манеры.

– Прощайте, monsieur Зинзерин! – прерывает ее Креолка. – Я вас верно и преданно обожала пять лет.

Математик смущенно краснеет, кланяется и не знает, что отвечать.

Его вырывает голос начальницы, покрывающий своим возгласом все голоса в зале:

– Ну, с Богом, дети! Идите переодеваться. Не заставляйте ждать ваших родных.

Ах да, родные! О них-то мы, недобрые, как раз и забыли в эти минуты.

* * *

Кто эта высокая девушка с осиной талией, с мягко курчающейся головою?

Белый шелк облегает фигуру. Серебристая тиара-шляпа обвила голову, и черные крылья колеблются на ней.

Я или не я?

Серые глаза смотрят жадно и пытливо. Щеки разгорелись, и не то грустно, не то робко улыбаются губы.

Посреди дортуара, куда мы пришли для того, чтобы сбросить навсегда неуклюжие казенные платья и облечься в наш выпускной собственный наряд, стоит стройная девушка с черными змеями кос, ниспадающими вдоль спины.

– Черкешенка! Какая красавица!

Это вскрикивает, как шальная, младшая Пантарова, Маливка.

– Мария из Пушкинской «Полтавы»!

– Нет, лермонтовская Тамара!

– Ах, вздор! Просто красавица, каких нет и не было на земле, – слышатся восторженные отзывы.

Румянец загорается на прелестном личике Гордской. Она как будто смущается своей красоты. А в черных восточных глазах загораются искры.

– Лида, моя душка! – говорит Елена, отводя меня к окну. – Моя милая, взбалмошная Лида, тебе я могу сказать это, ты не засмеешься надо мною: тебя я бесконечно любила все эти годы, и всю мою ничтожную красоту отдала бы сейчас, лишь бы не расставаться с тобой.

Я потрясена. Эта милая, тихая девушка была бы мне лучшим другом, но я, с моими вечными шалостями и проказами, едва примечала ее привязанность ко мне.

Я молча раскрываю объятия, и мы обнимаемся с Еленой, как сестры.

– Трогательная идиллия, – смеется Сима, вынырнувшая в своем скромном белом платье и в шляпе, уже успевшей съехать набекрень.

– Ну, прощай, Вороненок, – говорит она просто. – Давай твою благородную лапу. Славные деньки проводила я с тобой. А теперь, значит, баста. Разбрасывает нас, кого вправо, кого влево. Ничего не пропишешь, такова жизнь. А забыть я тебя никогда не забуду, – добавляет она и тотчас же, топая ногой, со злостью кричит мне в лицо:

– Ну, чего смотришь? Не видела, как умеет рюмить раз-

бойник Сима? И не увидишь никогда!

А в глазах переливается предательская влага, и загорают ярче милые «разбойничьи» глаза.

– Лотос! Елочка! Ведь ты со мною проведешь лето? – обращаюсь я к Елецкой, которая, повернув к зеркалу лицо, усиленно старается сложить на черненькой головке какую-то необыкновенную экзотическую прическу.

– Ах, спасибо, не могу. Мама не хочет расставаться со мною. Старится она заметно, милая, боится меня отпустить от себя надолго. Я с нею в деревню поеду к дяде. А зимой приеду в Петербург. Увидимся как-нибудь.

– Как жаль, Елочка! Как жаль!

Мне действительно жаль, что Лотос не может воспользоваться приглашением моих родных провести у нас лето. Вся ее мистичность, все ее болезненно-восторженное настроение исчезло бы в обстановке здоровой довольной семьи, где есть маленькие дети, где все дышит нормальной правдой жизни здоровых, счастливых людей.

Додошку Даурскую мои родители тоже пригласили провести у нас лето. Но еще два дня тому назад к Додо приехала ее тетка, заявившая желание взять сироту к себе на лето в Петергоф.

Теперь я лишилась и общества Елочки. Стало невыносимо грустно.

– Лида, а где же Большой Джон?

И тоненькая чахоточная Рант, совсем хрупкая и воздуш-

ная в ее белом наряде, предстает перед моими глазами.

– Да, Лидочка, он обманул тебя. Я отлично видела: его не было в зале среди приглашенных гостей.

– Нет, нет! – возражаю я пылко. – Большой Джон никогда не обманывает.

Большой Джон – это мой друг, двадцатитрехлетний молодой ученый, англичанин, изъездивший полмира, сын владельца огромной фабрики, находящейся в том уездном городке, где живет моя семья.¹ Большой Джон и я связаны неразрывными узами дружбы и любим друг друга, как родные брат и сестра. Джон Вильканг не раз выручал меня в детстве из самых неприятных положений.

За несколько дней до выпуска, на нашем институтском балу, Джон Вильканг, или Большой Джон, как я его прозвала, дал мне слово присутствовать на выпускном акте. И не приехал.

«Но он еще придет», – решило за меня мое сердце, когда я убедилась, что Большого Джона здесь нет. Не было еще случая, чтобы он не сдержал данного слова.

А между тем время идет. Мы готовы. Зеленые казенные платья скрылись с наших глаз. Изящные белые девушки в шляпах и пелеринках явились на смену недавним институткам.

– Прощайте, m-lle Эллис. Не поминайте лихом! – кричим мы хором, обступая в последний раз маленькую толстенную

¹ См. повести «Моя жизнь» и «Большой Джон».

фигурку в шумящем шелковом платье. – Не поминайте лихом! Мы любили вас.

– Ах, дети! – Она обнимает нас всех по очереди.

– Месдамочки, пожалуйста к тапан на квартиру еще раз проститься! – звенит чей-то голос.

– Но прежде обежим гурьбою весь институт, – предлагает тоненькая Рант. И, не дожидаясь возражений, она подхватывает шлейф своего платья и первая несется из дортуара.

Мы мчимся за нею. Развешаются шлейфы, ленты, кружева, оборки. Разлетаются пушистые локоны вдоль лба и щек. Мелькают белые туфельки, качаются страусовые перья и крылья на шляпах. Пробегаем верхний коридор, площадку, лестницу. Останавливаемся перед институтскою церковью.

В последний раз видим мы ее, эту красивую, небольшую молельню с иконостасом, с иконами, с двумя клиросами, с «начальническим» уголком. Здесь загорались молитвенным восторгом детские души. Здесь мы, веруя, молили или благодарили.

Не сговариваясь, белые девушки, как одна, опускаются на колени. Замирают сердца перед неведомым. С робким ожиданием обращаются взоры к алтарю. Благоговейно простояв на коленях несколько минут, мы поднимаемся, глядим друг на друга и бежим снова мимо часов, где «долина вздохов», вернее, часовая площадка, второй этаж, где классы, библиотека, зала.

– Прощайте, классы, прощай, библиотека, прощайте все!
Голоса звенят и рвутся.

– Месдамочки, выпускные взбесились! – кричат собравшиеся на лестнице институтки.

«Кочерга», испуганная не на шутку, спешит нам навстречу, преграждая путь. Но удержать нас трудно. Мы все сейчас – одно буйное стремление, один жгучий порыв осмотреть еще раз знакомую обстановку детства и отрочества, чтобы запечатлеть ее на всю жизнь.

Миновав лестницу, спешим в нижний этаж.

– Прощай, столовая, гардеробная, лазарет, музыкальная комната, полутемный мрачный коридор и маленькая приемная!

Начальница уже ждет нас в своей квартире. Последние объятия, напутствия, благословения.

Притихшие выходим мы в зеленую комнату, где в неприемные дни к нам в экстренных случаях пускали родных.

– Простимся теперь. Пора, месдамочки, – звучит чей-то взволнованный голос.

– Прощайте! Нет, нет! До свидания!

Затем происходит какой-то сумбур, что-то неопишное. Мы бросаемся в объятия друг другу и рыдаем, задыхаясь от слез.

– Прощайте! Прощайте!

Плачут все, решительно все. Даже в «разбойничьих» глазах Симы – слезный туман. У меня сердце разрывается от

тоски, когда я сжимаю ее в объятиях.

– Пиши, милая! Пиши! Черкешенка! Голубка! – Глаза Елены полны тоски.

– Все, все пишите!

Лотос-Елочка бледна, как известь.

– Наши души сольются, несмотря на разлуку, – говорит она.

– Месдамочки, когда я замуж выходить буду, всем пришлю приглашение, – сквозь рыдание улыбается Креолка.

– О, будь покойна, тебя никто не возьмет, – шуточно отмахивается Сима, – на голове колтун, глаза как плоски.

В дверь приемной протискиваются младшие, наши друзья, вторые, третьи. Потом снова с заплаканными личиками появляются «обожательницы», и каждая стремительно бросается к объекту своего поклонения. Снова поцелуи, вздохи, слезы, рыдания.

Когда я получасом позднее появляюсь перед папой-Солнышком, мамой и братишкой, лицо мое безобразно вздуто от слез, вспухшие веки красны, а губы отчаянно дрожат от волнения. Все отлично понимают меня. Кратко осведомившись: «Ты готова?», они ведут меня вниз, в вестибюль института. Как во сне мелькают передо мной еще раз милые, знакомые, дорогие лица. О, какие дорогие, милые! Рант, Елочка, Черкешенка, Додошка, Креолка, сестрички Пантаровы, Сима. Прощай! Прощай!

Швейцар Петр, похожий сегодня на какое-то удивитель-

ное существо из сказки благодаря парадной ливрее и аксельбантам, широко распахивает передо мною дверь.

– Дай вам Бог счастья, барышня Воронская! – говорит он значительно. – К нам пожалуйста в гости! Не забывайте!

Я слова не могу произнести от волнения, киваю головою и медленно переступаю заповедный порог.

– Счастливый путь! – слышу я в тот же миг добрый голос. – Счастливый путь, маленькая русалочка, в большом море жизни!

Я поднимаю заплаканные глаза.

– Большой Джон! Я знала, что вы приедете! Я знала!

Передо мною высокая – о, какая высокая! – на длинных ногах фигура, широкие плечи, корпус атлета и маленькая, совсем маленькая головка с безукоризненными чертами лица. В серых глазах и бесконечная ласковость, и шутливая насмешка. В тонких, сильных руках с длинными пальцами – великолепный букет лилий.

Я в восторге смотрю на Джона, забыв поздороваться, забыв поблагодарить.

– Зачем вы так балуете, мистер Джон, нашу Лиду? – говорит «Солнышко», пожимая руку моего друга.

– Я знал, что вы будете искать меня в числе приглашенных, – говорит Джон, обращая ко мне и улыбаясь. – Но я именно хотел вас приветствовать на самом пороге жизни и поднести эти морские цветы маленькой русалочке. Ведь розы не растут на дне моря, как эти. Но что это?

Джон Вильканг вглядывается мне в лицо.

– Очевидно, вы неутешно плакали. Разлука с подругами, правда, дело тяжелое, но, маленькая русалочка, стыдитесь так непростительно поддаваться слабости. Бодрою и радостною хотел бы я видеть вас, входящую в жизнь.

– Ах, это так понятно, – пробует защитить меня мама. – Я сама была институткой и тоже...

Она замолкает, и ее глаза сияют. – Увы, я институткой не был! – подхватывает Джон. – Но думается мне, что следует беречь слезы для более серьезных случаев в жизни.

– Ого, какой строгий! – улыбается Солнышко-папа.

– Ужасно, – вторит Большой Джон и, подхватив Павлика на руки, высоко подбрасывает его над головой.

– Ха-ха-ха, – заливается мальчик.

– Садитесь с нами, Большой Джон. В нашем ландо есть свободное место, – предлагаю я. – Ведь вы не останетесь сегодня в Петербурге?

– Ни под каким видом! Иду домой вместе с вами.

– Вот и прекрасно. Мы вас до пристани доведем.

И высокая фигура с крошечной головой усаживается в экипаж между мной и братишкой.

Разрезая хрустальные воды Невы, плывет «Трувор» – большой невский пароход, совершающий свои рейсы между Петербургом и Ш., городком, где служит мой отец.

Шестьдесят верст водою – какая это чудесная прогулка!

Я не могу оторвать от берега взгляда. Леса, селения, дачи,

редкие пристани и снова леса, леса, сосновые и лиственные, красиво отражающие в светлых водах свои пышные ветви.

Столица с ее заводами, фабриками, пылью и дымом осталась далеко позади. Впереди широкая водяная лента. С обеих сторон пышная зелень майской природы и вода, вода. Река и солнце, потоки солнца кругом. Колесо шумит. Брызги воды вылетают из-под него фонтаном, белая и чистая, как сахар, пена разбрасывается по обе стороны плывущего гиганта.

Тонкий пронзительный гудок, и мы приплываем к пристани. Перебрасываются мостки. По ним спешат пассажиры. Поскрипывая, покачивается утлая пристань.

– Отчаливай, – слышится в рупор команда капитана. И снова с шумом вертится колесо. Снова режет могучий «Трувор» хрустальные воды реки-царицы.

В каюте Большой Джон, чтобы развлечь моего сморившегося, уставшего братишку, рисует ему карикатуры на пассажиров, показывает фокусы при помощи спичек и носового платка. Мои родители разговаривают со знакомыми из нашего города. А я стою на корме, обсыпанная студеными пенными брызгами, опьяненная видом природы и первыми часами моей «воли», первым сознанием ее власти и красоты.

Пароход дышит смутным, грохочущим дыханием и подвигается все вперед и вперед – как и моя жизнь.

Там, впереди, ждет его маленький город. Меня впереди ждет моя судьба. Какова она еще будет, я не знаю; горе ли,

радость принесет мне она в ближайшие дни – неведомо ни мне, ни кому другому. Знаю одно: начало моей воли празднично и прекрасно, как сказка, о чем свидетельствуют этот, полный солнца и света, радостный день, и сияние хрустально-голубой реки, и пушистая изумрудная лесная зелень побережья.

Я точно во сне, когда тремя-четырьмя часами позднее выхожу на пристань по утлому трапу, впереди моих родных.

Большой Джон шагает подле.

– Маленькая русалочка, – голосом сказочного чудовища басит он, – как нравится вам родной городок?

Убогий, маленький бедный уголок, захолустье большой России, разбросанный у самого устья красавицы-реки. У истока ее, из большого, мрачного синего озера, бурливого и почти безбрежного, как море, – белая крепость. Здесь на каждом шагу история и старина. Здесь бились шведы и русские. Здесь проходил Скопин-Шуйский со своей дружиной. Здесь реяли много позднее знамена Великого Петра. А там, за белой стеной крепости, в мрачном каземате томился царственный узник Иоанн Антонович, лишенный престола. Бесконечные каналы, перерезанные шлюзами. Часовенка у пристани, с чудотворной иконой, дальше фабрика, еще дальше тихое поэтичное кладбище в сосновом горном лесу.

Мое сердце бьется. Все здесь дает настроение: и красота природы, и маленький исторический городок, полный воспоминаний далекой седой старины.

Вдруг внезапный, беспорядочный шум привлекает мое внимание.

Толпа оборванных, страшных, с испитыми лицами бродяг бросается к нам навстречу. Они рвут из рук моего отца мой небольшой чемоданчик, хватают нас за платье и кричат:

– Алексей Александрович! Батюшка! Благодетель! Поздравляем, отец родной, с доченькиным приездом! Матушка, красавица-барыня, вас также!

Тут мужчины, женщины, дети. Охрипшие голоса, озлобленные лица, силящиеся изобразить сейчас умильную улыбку на искривленных губах.

Я шарахаюсь в сторону и гляжу на эту пеструю, жалкую и жуткую толпу.

– Маленькая русалочка, – слышу я голос Большого Джона, – не бойтесь: это здешние ссыльные, они безвредны и не принесут вам вреда.

Ну, да, конечно, глупо было бояться. О них, об этих полуголодных, оборванных людях, я совсем и забыла. А между тем они, эти серые люди с изможденными лицами, знакомы мне с тех пор, как мы поселились в Ш. Их партиями пригоняют сюда из Петербурга, подбирая большею частью в нетрезвом виде на улицах. Среди них можно встретить и мелких воришек, и уличных бродяг.

Но здесь, в Ш., они действительно безвредны. У них своя община, свой старшина, свои порядки. И живут они в большой, мрачной казарме в предместье города. Каждую суббо-

ту обходят они дома состоятельного населения и получают по копейке с дома каждый. Это – их доход. Кроме того, на пристани сторожат пароходы, чтобы носить багаж приезжих на своей рабочей спине.

С крикливыми возгласами толпа ссыльных мужчин и женщин всех возрастов окружила нас.

– Ангел-барыня! Барченочек! Божье дитяtko! Барышня-красавица! – лепетали они. – Поздравляем вас! – выводили они нараспев хором и мгновенно окружили Большого Джона. – Иван Иванович! Благодетель наш! В добром ли здоровье?

– Слава Богу, друзья мои! – отвечает он своим веселым, добрым голосом. – Вот сегодня же буду просить отца принять несколько женщин к нам в сортировочное отделение на фабрику.

– Дай тебе Господи здоровья, благодетель ты наш! – слышатся умиленные голоса.

Тесная группа обступила моего отца, который раздает им мелкие монеты. Павлик пугливо жметсЯ к матери. Нежный и хрупкий, он не выносит шума и суеты.

А мои глаза уже видят там вдали синие воды озера, похожего на море, с реющими на нем белыми чайками парусов.

Внезапно я чувствую, как что-то постороннее прикасается к моему боку там, где место кармана. Что-то проворно скользит по мне, как змея.

– А!

Я едва успеваю крикнуть. Живо оборачиваюсь.

Что-то смуглое, черное, всклокоченное и оборванное ша-
рахнулось в сторону. В ту же минуту слышатся дикие, прон-
зительные крики.

– Держи! Лови! Левка у барышни портмоне из кармана
стянул! Держи! Лови мошенника!

И несколько взрослых фигур устремляются следом за
небольшим оборванным, черным, как цыганенок, мальчуга-
ном.

С изумительными ловкостью и быстротою, мальчик не
старше четырнадцати лет юркает в толпу, потом, изогнув-
шись, проносится мимо. За ним гонятся шесть или семь
сильных, здоровых мужчин. Слышны их свистки, крики,
злая брань.

– Лови! Держи! Разбойника лови, братцы! Мы те пока-
жем, как у благодетелей воровать!

Мое сердце сжимается болью за худенькую, жалкую фи-
гурку.

«Только бы не били его, только бы не били!» – выстуки-
вает оно, сжимаясь от жалости.

К отцу подходит огромный, костлявый человек со стран-
ными прозрачными глазами, с красным носом и впалыми
щеками, обросший рыжей щетиной.

– Это их староста, – шепчет мне мама. – Он, конечно, бу-
дет сейчас извиняться.

Действительно, староста Наумский хриплым голосом го-

ворит отцу:

– Вы, ваше благородие, не бойтесь. Мы мальчонку прочим. Мы такого сраму не допустим. Мы хоть и пьяницы и бродяжки, а того у нас нет, чтобы благодетелей обижать.

– Нет, нет. Не смейте его бить. Никакой расправы я не допускаю, – говорит отец строго и хмурит брови.

– Ну, уж это наше дело. Мы позора на себя брать не хотим, – обрывает рыжий человек.

– А, голубчик, попался! – свирепо накидывается он на кого-то, рванувшись вперед.

Толпа раздается на обе стороны, и я вижу: четверо мужчин ведут воришку. Двое тащат его за руки, двое подталкивают в спину. Я вижу ужас, разлитый в зрачках мальчугана. Его помертвевшее от страха лицо, его спутанные кудри, нависшие по самые брови, и огромные черные сверкающие глаза, налитые животным ужасом. Он знает, какая жестокая расправа ждет его в казарме.

Кто-то вырывает из его рук кошелек и передает мне.

Мой отец взволнован.

– Послушайте, – обращается он к толпе, – не смейте бить мальчика. Отведите его к исправнику. Он разберет, в чем дело. Но я запрещаю вам самим расправляться с ним.

В голосе моего «Солнышка» звучат властные ноты. В глазах приказание. Обычного детского выражения я не вижу в них сейчас.

Но возмущенная толпа уже не слышит ничего.

– Ты, ваше высококородие, препятствовать нам не моги. У нас свои уставы, – коротко бросает Наумский и затем отрывисто приказывает толпе: – Ведите в казарму мальчишку и там ждите меня и моего приказа.

У меня холодеет сердце и дрожь пробегает по спине. Перед мною жалкое, маленькое лицо, исковерканное страхом. Я чувствую сама, что бледнею. Холодные капли пота выступают у меня на лбу.

– Они забьют до смерти этого ребенка, а вырвать его у них нет возможности и сил.

– Послушайте, – кричит мой отец, повышая голос. – Если вы тронете его хоть пальцем, двери моего дома навсегда закрыты для вас, и субботние получки вы...

Он не доканчивает своей фразы. Высокий человек с крошечной головой, смело расталкивая толпу, пробирается к маленькому бродяжке. Вот он перед ним.

Мое сердце наполняется огромным порывом счастья. Теперь я знаю, я чувствую ясно: Левка спасен.

Сильными толчками Большой Джон отстраняет мужчин, державших мальчугана, и кладет руку на кудрявую голову оборванца.

– Ты пойдешь со мною, – говорит он голосом, не допускающим возражений. – Я беру тебя на поруки в свой дом.

Потом, окинув толпу ястребиным взглядом, добавляет властными нотами:

– И кто тронет его пальцем, тот будет считаться со мной. А

теперь расходитесь вы, живо! До свиданья, полковник! – минутою позднее обращается он к «Солнышку» и пожимает его руку (другою рукою он цепко держит Левку за плечо). – Со- всем забыл; через неделю день рождения сестры моей Али- сы – ее совершеннолетие, и мой отец просит вас пожаловать с супругой и дочерью к нам. У нас праздник и бал. Малень- кая русалочка, вы не откажете подарить мне котильон? Не правда ли?

– О, конечно! – тороплюсь я ответить, а глаза мои по- прежнему впиваются в Левку.

Меня поражает это хищное и в то же время запуганное выражение лица с цыганскими глазами.

Толпа оборванных людей медленно расходится тихо роп- ша и негодуя. Но открыто протестовать она не может. Боль- шой Джон – крупная личность в городке. Многих из этих ссыльных он определяет на фабрику своего отца. Многим дает заработать кусок хлеба.

Левка, попав под его защиту, теперь является недосягае- мым для толпы. Он это чувствует и доверчиво льнет к свое- му благодетелю. На губах его появляется довольная улыбка, а черные глаза коварно усмеваются, глядя на толпу.

* * *

Лето мы проводим не в самом городе Ш., а в предместье его, в прелестной маленькой мызе «Конкордия», сбегаящей

дорожками к реке. Две извозчичьи пролетки везут нас туда. Я еду в переднем экипаже с мамой-Нэлли. Позади – папа с братишкой.

– Как хорошо, что тебе сразу представляется случай встретить на вечере у Вильканг все здешнее общество, – говорит моя спутница. – Войдешь в него сразу, познакомишься со всеми.

Я киваю, но на уме у меня другое. Я не люблю общества. Лес, поле, красавица-река, лодка, природа – вот желанное общество. Я еще полна печали по подругам. Симу, Зину Бухарину, Черкешенку, Рант, Веру Дебицкую, – всех их мне никто не заменит.

Мама-Нэлли точно читает в моих мыслях.

– У тебя не будет недостатка в сверстницах, – говорит она. – У нас живет молоденькая швейцарка Эльза, рекомендованная Джоном Вилькангом. Она будет всюду сопровождать тебя. И потом, Варя еще у нас. И хотя она тебе не пара, но все-таки в молодом обществе тебе будет веселей.

Варя? Да. А я-то и забыла о ней.

Молодая, полуинтеллигентная, из школы ученых нянь-фребеличек, Варя давно уже живет в нашем доме. Она нянчила моего брата Павлика, а теперь на ее руках Саша и Нина – младшая детвора. Во время моих летних вакаций я подружилась с Варей и даже тайком от всех перешла с нею на «ты». Моим родителям не особенно нравится эта дружба, так как обладающая далеко не легким характером Варя не

умеет держать себя в границах. Она деспотична и резка, но ко мне питает привязанность. При всех мы на «вы»; наедине – на «ты» и считаем себя подругами.

Пока я расспрашиваю маму про Варю, мы минуем город с его рынком и бульваром, с его белой фабрикой, сосновым лесом и кладбищем на горе. Вон казармы в предместье. Вон рыбацкая слобода, куда мы когда-то ходили пить парное молоко с моей гувернанткой-француженкой. Вон уже потянулись поля, роща, показалась высокая дача с бельведером. Вдали лес, темный и молчаливый. А по другую сторону дороги – белые столбы ворот мызы «Конкордия».

Мы подъезжаем.

Пестрая группа виднеется у входа на мызу. Кто-то машет платком, кто-то маленький, толстенький, потешный крутит шляпой над головой.

– Стой! Стой! – кричу я извозчику, соскакиваю с пролетки и, небрежно подхватив шлейф моего белого платья, бегу со съехавшей на бок шляпой навстречу собравшимся.

Вот они все передо мною.

Насколько мой первый братишка строен и хорош, настолько второй – толстенький и неуклюжий шестилетний Сашук – кажется медвежонком. Но в серых глазах его столько добродушия, что так и тянет расцеловать его.

Четырехлетняя Ниночка прелестна грацией крошечной женщины. И глаза у нее – как голубые незабудки в лесу. Черные реснички длинные.

– Лида приехала! Лида! – визжат они и прыгают на месте, хлопая в ладоши.

Я обнимаю всех, целую.

– Ты будешь рассказывать нам сказки?

– Да, милые! Да!

– А мыльные пузыри пускать будешь? – осведомляется Саша.

– Ну, конечно! Конечно!

– А у меня есть жук в коробке! – посапывая носиком и высвобождаясь из моих объятий, присовокупляет он.

– А ты такая же шалунья, как прежде? – спрашивает Павлик. И вдруг вспоминает: – Ах! Слушайте... У пристани какой-то бродяжка у Лиды из кармана портмоне вытащил. Его все ссыльные бить хотели. Но папочка не позволил, а Большой Джон вдруг как выскочит, как растолкает их всех, и к себе мальчика взял. Он – черный, как цыган. И злой. А глаза как яйцо. Во!

– Лида Алексеевна! Милая! Поздравляю! – слышу я резкий голос.

– Варя, дорогая!

Карие глаза ее горят, а по скуластому молодому лицу разлился румянец. Она некрасива: маленькие глазки, поджатые узкие губы, скуластое лицо, волосы, густые и непокорные, какого-то линючего цвета. Но зато у нее крупные сильные зубы и насмешливое, умное лицо.

Я оборачиваюсь к ней, целую. Ее преданность и любовь

так радуют меня.

– Ах, Варя, какая у нас будет дивная жизнь! – шепчу я ей.

– Наконец приехала, родная! А у нас тут новость – взята швейцарка. Ну и сокровище! Увидишь! – шепчет она пренебрежительно.

Я сразу понимаю все. Варя ненавидит «чужеземку». Она ревнует ее ко мне, к детям, к своему положению у нас в доме.

– M-lle Эльза уже здесь? – срывается у меня.

– Bonjour, m-lle Lydie! – слышу я тоненький голосок.

Передо мною низенького роста девушка, черноглазая, милостливая, свеженькая.

– Эльза, – говорю я по-французски, протягивая ей руку, – мы будем друзьями? Не правда ли?

Она улыбается, и глубокие ямочки играют у нее на щеках.

Варя презрительно поджимает губы. Я беру ее за руку.

– Не сердись, – шепчу я ей мимоходом. – Ведь и нужно было обласкать. Но тебя я не променяю ни на кого.

– Барышня золотая наша приехала, – слышу я громкий голос, и веселое, жизнерадостное существо, девушка двадцати семи лет, горничная мамы-Нэлли, служившая у нее еще в годы девичества, бросается меня целовать: – Наконец-то! Шесть лет этого ждали! – кричит она и от избытка чувств подхватывает на руки мою младшую сестренку.

– Ура! Кричите «ура», мальчики! – подталкивает она братьев.

Саша раскрывает рот. Павлик машет ручонкой.

– Не надо кричать. Мы не солдаты. Лучше пойдем, покажем Лиде все, что мы приготовили для нее, – говорит Павлик.

– Конечно, конечно.

«Солнышко» и мама-Нэлли примыкают к нашей юной толпе.

У входа в дом флаги. Балкон обвит зеленью и полевыми цветами. Из них сплетена искусная надпись «Добро пожаловать, сестрица».

Это дети с воспитательницами сплели ее для меня.

Всюду букеты моих любимых ландышей: в вазах, в граненых бокальчиках, в стаканах. Мой портрет тоже увидит ими.

– В Лидину комнату теперь, живет! – командует Павлик, и с визгом ребятишки бегут туда.

Обняв маму-Нэлли и лаская глазами папу-Солнышко, вхожу в приготовленное для меня гнездышко.

Оно в верхнем этаже. Окна выходят на Неву. Вот она сверкает серебристой лентой между кружевом сосен. Комната вся голубая. Ее стены выкрашены «под небо». На полу, перед письменным столом, – шкура дикой козы. Голубые драпировки из крепона, уютная кушетка, на которой так хорошо читать, так сладко грезить; ореховый шкаф с большим зеркалом, вделанным в дверцы.

На письменном столе – изящный прибор для письма из красивого серого мрамора с бронзой. В углу, за ширмами, – белоснежная кровать. Там же и огромный мраморный умы-

вальник. Заботливые руки, поставившие его, знали, что я люблю плескаться, как утка, и предусмотрели все. Над столом полочка с книгами: Лермонтов, Надсон и Тургенев, чудесный Тургенев, перед ним я склоняюсь до земли.

Никаких статуэток, бибело, ни туалета с его принадлежностями в комнате нет. Если бы не голубой цвет и нежные тона, можно было бы подумать, что это комната юноши. Но я не люблю никаких украшений, которые так «обожают» бабы мои лет. Моя душа – душа мальчугана. Родные знают это и украсили мою комнату именно так, как я мечтала сама.

– Тебе нравится? Да? Нравится? Скажи! – кричат братишки и сестренки.

Но сказать я ничего не в силах. Я счастлива, бесконечно счастлива. Оборачиваюсь к Солнышку, к маме. Протягиваю руки, благодарю без слов.

Какие у них счастливые лица!

– Зимою мы прибавим мебели на городской квартире, – роняет отец.

– Да, да. Будет еще уютнее, – вторит мать.

– Да может ли быть лучше того, что я здесь вижу? – срывается с моих уст в восторге.

Остаток дня я посвящаю осмотру мызы «Конкордия». Как все здесь красиво. Старый запущенный сад. Заросли сирени, боярышника, акации. В глуши зеленая беседка из плюща, как раз над Невою.

– Это будет моим любимым пристанищем, – решаю я.

Часть сада расчищена. Есть гигантские шаги, качели. А через дорогу лес. Напротив – старая усадьба хозяев. Здесь мы жили раньше. Там весь вечер поют соловьи. У пристани – маленькая лодочка. Это Солнышко купил ее для меня. Я прыгаю в нее, беру весла. Один взмах, и течение подхватывает меня.

Я гребу до утомления, полная молодого задора. Только к обеду, к шести часам, попадаю домой.

– Была на реке! – кричу звонко, входя в столовую. Но этого и говорить не надо: платье пропитано брызгами, а солнце первым загаром тронуло щеки. В лице мамы-Нэлли тревога.

– Не люблю я воды, – шепчет она тихо. – Боюсь.

– О, за нее не бойся, дорогая! Она гребет и правит лодкой лучше любого рыбака, – смеется папа-Солнышко.

А вечером, когда дети спят, каждый в своей белой постельке, Варя пробирается ко мне в мезонин. Я распахиваю окно. Соловьи заливаются в глухой усадьбе хозяев. Тихо плещет Нева. Варя обнимает меня крепко, и мы слушаем молча ночные трели. Потом она говорит о своей привязанности ко мне, о ненавистной ей Эльзе, о своем одиночестве и о тусклой сиротской доле.

– Как хорошо, что ты приехала, радость моя! – шепчет девушка. – Теперь все пойдет по-старому. Ведь ты любишь меня? Ведь ты-то уж не променяешь меня на Эльзу?

– Какие ты глупости говоришь, Варя.

– Ну, вот уж и глупости! – поджимает она губы. – Всех эта Эльза тут околдовала, что и говорить. Раньше, бывало, дети от меня ни шагу, а теперь все с нею да с нею. И Анна Павловна на нее не надышится. Еще бы! Эльза умеет туману в глаза напустить.

– Что ты, Варя. Мама-Нэлли так дорожит тобою, – оправдываю я близкое мне существо.

– Ах, что ты знаешь! – сердится Варя. – Вот погоди, околдует и тебя.

– Не околдует, – смеюсь я.

Так странно и дико в этот чудный майский вечер под сладкие рулады соловьев чувствовать глухую вражду, зависть, беспокойство.

Я обнимаю крепче девушку, поцелуем прогоняю мрак из ее души и начинаю рассказывать ей о сегодняшнем дне, о выпуске, о Симе Эльской, Креолке, Черкешенке, Додошке. И глаза ее постепенно загораются. Улыбка трогает тонкие губы. Потом я читаю ей свои стихи, ей одной читаю все то, что написала за последнее время.

Варя сулит мне известность в будущем, славу. И глаза ее горят восторгом, когда она смотрит на меня.

Мы расходимся поздно. Заря уже охватила полнеба, и на заднем дворе пропели первые петухи. Я валюсь на постель и тотчас же засыпаю, как убитая.

Новая жизнь на воле.

Дни стоят чудесные, ясные, праздничные. В золотом маре-
реве купаются синие волны реки. Зеленеют деревья. Ни туч-
ки в бирюзовом небе. Ни темного облачка на душе. Все кра-
сиво и ясно, как и в самой природе.

Сплю до десяти. Отсыпаюсь за зиму институтской учеб-
ной гонки. Потом наскоро одеваюсь и бегу купаться. Со
мною Варя и Эльза. За детьми в это время присматривает
Даша.

Вода в Неве холодная, бодрящая. Плаваем, хохочем. Варя
ныряет, как чайка. Эльза – трусиха. Она кроткая и покорная,
все смеется.

– Она глупа, – решает Варя. – Покажи Эльзе палец, сейчас
будет хохотать.

Нет, Эльза не глупа. Это птичка, беспечная, веселая, как
дитя. Что за мысли кроются под черной гривкой волос, не
знаю. Какими надеждами бьется сердечко, кто сумеет разга-
дать?

К завтраку мы возвращаемся возбужденные, с мокрыми
волосами, с волчьим аппетитом.

Затем отправляемся в лес с детьми.

Лишь только вступаем под мрачные своды хвойных вели-
канов, как душа моя затихает, раздавленная этим величием

и тишиной. Сначала молчишь, как в храме, замороженная. Потом откуда-то из глубины души вырывается восторг и желание слиться с природой, с травой, с лесом.

Веселье кружит голову. Мы гоняемся друг за другом как бешеные, к немалому восторгу детей. Валимся на траву, скачиваемся кубарем с холмов и пригорков. Иногда затихаем внезапно. Я импровизирую стихи или сказки. Меня слушают все с жадно раскрытыми глазами. Из моих уст так и льются волны фантастических вымыслов. Чего только я не выдумываю! Тут, в лесу, все таинственно и прекрасно. Здесь невидимый замок волшебника. В нем томятся принцессы. По ночам их можно видеть танцующими при луне. А из болот выходят по ночам на берег серые жабы, ударяются о землю и делаются принцами, которых заколдовал злой колдун. Сказка заканчивается всегда благополучно и постоянно – свадьбой принцев с принцессами и гибелью злого колдуна. Потом я читаю стихи о море, о южном солнце, о восточном небе, которых никогда не видела и не знала, но куда рвалась всей душой. Это татарская кровь дает себя чувствовать: по прадеду мы татары.

С восторгом глядит на меня Варя, с благоговейным недоумением – Эльза. Она плохо понимает то, что я говорю, но мой вдохновенный экстаз трогает ее своим жаром. Потом Варя бросается ко мне на грудь, восторгается моим дарованием и опять пророчит славу.

А после обеда, до позднего вечера, я снова на реке. Ло-

жусь на дно лодки и позволяю течению отнести себя далеко. Спыхватываюсь и гребу.

Я воображаю себя не тем, что есть. Я снова принцесса, как и в далеком детстве. Кругом меня – мои владения, эта река моя, зеленый берег тоже мой. Там живут мои подданные – племя не то древних греков, не то арабов. Они сильны духом и смелы, как львы. Они все мирные земледельцы, и каждый из них поэт, или музыкант, или певец по призванию. Словом, все они жрецы искусства. А я...

Взошедший на небе месяц напоминает мне, кто я и что меня ждут к чаю. С неохотой расстаюсь с лодкой, бреду домой.

«Солнышко» с мамой идут в гости. Зовут меня с собою. Я отказываюсь. Одеваться, причесываться, сидеть тихо и неподвижно, напряженно вслушиваясь в вопросы, изображать из себя светскую барышню – ни за что!

– Ну, как хочешь, – соглашается «Солнышко».

Зато что за сумбур поднимается, когда мы, уложив детей, несемся с Варей, Эльзой и Дашей к любимым «гиганткам». Ах, я люблю взвиваться птицей вокруг гигантского столба! За спиной словно крылья.

Эльза трусит по обыкновению. Варя же не отстает от меня. Даша передает свою лямку и заносит нас всех поочередно. Крик, визг, хохот.

А ночью золотые грезы выются над моей головой. Сны мои так пленительны и тревожны, и так часто сходны они между

собой. Я вижу народную толпу, веселые всплески аплодисментов и тонкую девушку на эстраде. И мне кажется почему-то, что девушка эта – я.

* * *

Терпеть не могу общества, званых вечеров, но все-таки приходится идти к Вилькангам.

У них не дом, а целый дворец подле фабрики. Вокруг него чудесный английский парк-сад. Всюду статуи, беседки, мостики, гроты, а посередине площадки, у главного входа – фонтан. Музыка гремит в открытых окнах дома. «Солнышко», мама-Нэлли и я подходим к директорскому крыльцу.

Я давно здесь не была. Помню, что у Большого Джона чуть ли не десять или двенадцать сестер. И все они сдержанные, чопорные и корректные англичанки. Воображаю, что за скуще этот сегодняшний бал.

Сад ярко иллюминирован. Над домом английский флаг и еще другой – белый. На нем что-то написано по-английски, вероятно, поздравительное приветствие Алисе, которой миновал сегодня двадцать один год.

Я ни слова не смыслю по-английски и заранее приготавлиюсь умирать с тоски.

Большому Джону, вероятно, придется мало времени уделить мне сегодня, – ведь он хозяин. А гостей, очевидно, пропасть, слышен их топот за версту. Неужели не будет, кроме

нас, никого из русских?

Но вот они перед нами.

Луиза, Кетти, Лиза, Мэли, Елена и Алиса – сама виновница торжества. Все в скромных белых платьях, гладко причесанные – благовоспитанные девицы из нравоучительного английского романа.

«Как?! Только шесть?! А я думала – их двенадцать!»

– А! Мисс Лида! Очень приятно вас видеть, – поют все шестеро по-французски, и полдюжины рук тянутся мне навстречу.

Увы! Большого Джона не видно!

– Джон в саду, готовится фейерверк, – поясняет «новорожденная», черненькая Алиса.

Остальные подхватывают:

– Иес! Джон в саду! В саду!

Точно я глухая или плохо соображаю, что мне говорят.

Потом меня подхватывают под руки две старшие, Елена и Алиса, и ведут в зал. Рыжая Луиза и Кетти идут за нами. Белокурая Лиза и Мэли – по сторонам.

Мне становится как-то не по себе: точно преступница среди стражи.

Ненавижу англичанок. Какая разница между ними и Большим Джоном! Небо и земля!

В большой зале зажжена люстра. Там танцуют. Молодые люди во фраках, в белых перчатках, в широко вырезанных жилетах и в белоснежных манишках, с гладко прилизанны-

ми волосами, добросовестно кружат по залу чопорных английских девиц. Последние сидят по стенкам чинно, безмолвно, в ожидании приглашения.

Ах, какая тоска! Что же я буду делать? Общество незнакомое. Мои англичаночки подводят ко мне то одного кавалера, то другого. Те делают со мною молча по туру вальса и, процедив что-то сквозь зубы, сажают на место.

А что, если удрать отсюда в сад, к Большому Джону, туда, где готовят фейерверк?

Я с тоскою поглядываю в окно, где закутывается в седую пелену сумерек светлая майская ночь. А тапер играет вальс за вальсом, польку за полькой, и чопорные пары кружатся без конца.

Алиса и Елена подсаживаются ко мне.

– Это жаль, – обращается ко мне по-французски старшая англичаночка, – что папа не пригласил, кроме вас, никого из русских. Вы скучаете?

– Ужасно! – сознаюсь я.

У них делаются испуганные лица, точно я сказала что-то ужасное. Но действительно же – скучно мне. Почему же я должна это отрицать? Или в этом не принято признаваться?

– А у нас новость, – говорит Алиса. – Джон взял мальчика себе в услужение. Такой проказливый мальчик и, говорят, воришка. А Джон его все-таки взял в услужение.

– Да, да! Вообразите! И носится с ним, как с родным братом, – вторит Елена. – А мальчик-то бродяжка – из тех, кого

сажают в тюрьму.

«Ах, это Левка, – соображаю я. – Интересно было бы взглянуть на него». И я высказываю свою мысль сестричкам.

– О, он невозможен! Это совершенный пират! – подхватывают подошедшие Мэли и Лиза.

– Вот это-то и интересно! – восклицаю я, оживляясь.

– Мы его не выносим, – цедит Лиза. – Это какое-то чудовище. Злой и испорченный мальчишка.

– М-Ле, на тур вальса! – слышу я над моей головой.

Еще один юноша с английским пробором на тщательно прилизанной голове. Волосы точно склеены гуммиарабиком и блестят, как сталь. Опять предстоит кружиться по залу с этой заводной машинкой. Ни за что! Я сухо благодарю и отказываюсь.

– Как! Что! Вы не любите танцев? Как странно! Такая молоденькая барышня – и не любит танцевать! – поют мои англичаночки.

Знакомое чувство закипает у меня в душе. Я уже знаю этот приступ, который «накатывает» на меня и превращает в дикарку, истую дочь татарских степей. Я встряхиваю стриженной головой и говорю по-французски:

– Нет, настоящие танцы, вернее, пляску я ужасно люблю. Но чтобы шумно было, весело, бешено все кружилось. Чтобы рояль плясал, и тапер, и стены залы, и искры сыпались бы из-под каблуков! – заканчиваю я с залихватским жестом.

О-о! Ужас отражается в глазках уравновешенных мисс.

– Вот такую, пляску я люблю! – прибавляю я, и глаза мои горят.

Все «миссы», как я их называю, переглядываются с ужасом. Я слышу нелестную для меня фразу: «Возможно ли, что она окончила институт?!» Потом Алиса говорит:

– Барышня из общества должна танцевать корректно, без особого увлечения, а так пляшут только на сцене или у цыган.

– Вот-вот! – подхватываю я с жаром. – Это и прекрасно! – И мое лицо уже пылает. – Ведь это и есть жизнь! Настоящая жизнь!

– Ну разумеется, – слышу я веселый, хорошо знакомый голос. – Маленькая русалочка, я понимаю вас.

– Большой Джон! Наконец-то! – кричу я и вскакиваю со стула. – Ах, Большой Джон, я так скучала без вас!

Должно быть, и этого говорить не полагалось. В «благовоспитанном обществе» нельзя говорить о том, что чувствуешь в душе. Нельзя высказывать правды в глаза. На балах и в обществе так называемого хорошего тона надо надевать маску. По крайней мере, лица у шести сестриц делаются такими кислыми, точно им дали глотнуть уксуса. И с блаженными улыбками они шепчут:

– Джон, займи мисс Лиду – она скучает с нами.

– О, со мной она не заскучает, клянусь головой! – хохочет Джон.

– Никогда, Большой Джон! Вы правы! Вы меня понимае-

те! – вторю я и улыбаюсь ему.

* * *

В чинном спокойствии чопорные «мистеры» с проборами и тихие «миссы» под звуки рояля тщательно выделывают бесконечные фигуры.

Джон танцует со мной. Но что выделяет он своими длинными ногами!

Он то подпрыгивает на ходу, то приседает, то вдруг затопает каблуками, вскинет то одну ногу, то другую и внезапно, когда надо выделять соло, завертится волчком.

– Это матросский танец, – поясняет мне мой кавалер. – Один негр лихо отплясывал его на палубе со своей женой-поварихой, когда мы плыли на пароходе Добровольного флота в Нью-Йорк. Не правда ли, хорошо, маленькая русалочка?

– Прекрасно, Большой Джон, – соглашаюсь я. – Чудесно.

– А не хочет ли изобразить маленькая русалочка жену негра, повариху?

– Понятно, хочу, Большой Джон! Какие еще могут быть о том вопросы!

– Ну, так начинаем. Тра-ля-ля-ля!

И он с хохотом обвивает мою талию рукою и пускается галопом между рядами танцующих пар.

Дирижер, высокий, элегантный юноша, кричит нам что-то, чего мы не слышим. Притопывая, привскакивая и кру-

жась волчком, мы танцуем тот импровизированный танец негров-матросов, внося в него всю бесшабашную удаль полудиких людей, и хохочем, точно настоящие дикие негры.

Вот вам и корректный бал. Вот вам и чопорная Англия.

Остановить нас некому. Старшие играют в карты за две комнаты отсюда. А чопорные мисс лишь бледно улыбаются.

Вдруг хохот, несется вслед за нами от входных дверей.

– Вот так штука. Здорово валяют! – слышу я детский голос.

И в тот же миг сердитые возгласы и шиканье покрывают его.

– Левка! Иди прочь. Тебе здесь не место. Какой ты грязный. Тебе нельзя сюда, здесь гости! – шипит Алиса Вильканг, выталкивая за дверь гибкую фигуру в заплатанной парусиновой блузе.

Черные глаза, спутанные кудри, задорная рожица мелькают передо мною. Это Левка. Я узнаю его сразу. За неделю сытой жизни под крылышком доброго покровителя щеки его округлились и порозовели. В его плутоватых глазах написано полное довольство.

– Пошел вон! Пошел вон! – с легким акцентом кричит Алиса и подталкивает мальчика в спину.

– Большой Джон, – шепчу я умоляюще, – позвольте ему остаться.

– Невозможно! – отвечает мне Алиса. – Это сущий разбойник. С ним нет сладу. Наглый и дерзкий, за все хватается

и, не догляди, готов стащить со стола лакомый кусочек.

И, оборачиваясь к мальчику, добавляет строго:

– Что ж ты стоишь? Тебе же велено убираться отсюда.

И она выталкивает его за порог залы. Но в самых дверях Левка останавливается и, оборачиваясь к «новорожденной», показывает ей уморительный жест.

Большой Джон прячет разгоряченное лицо за мой веер и бесшумно хохочет.

* * *

Пока в зале открывают форточки и освежают комнату, рядом, в кабинете Джона, играют в «мнения». Мистер Джон Манкольд, длинный юноша с рыжими бачками, собирает их. На мою долю выпадает жребий уходить.

Когда я возвращаюсь, Большой Джон шепчет мне незаметно:

– Ну, берегитесь! И разделали же они вас под орех!

Я только встряхиваю волосами (мальчишеская привычка, доставляющая маме-Нэлли столько хлопот).

Действительно, мне досталось не на шутку. Мистер Манкольд с особенным удовольствием перечисляет все, что обо мне говорили. Мне приходится слышать, что я дикая, слишком непосредственная, удивительно своеобразная (это сказано в насмешку, но на французском языке звучит как комплимент), что я «казак», что мне еще придется много рабо-

тать над собою, чтобы быть как другие, что я бедовая и прочее.

И только одно «мнение» за меня.

«Она такова, что хорошо было бы, если бы все девушки в мире были на нее похожи».

Я сразу узнаю автора этого мнения.

– Угадала! Угадала! – кричу я, хлопая в ладоши. – Большой Джон, это сказали вы!

– Это сказал я, вы правы, – говорит он трагическим басом и под общие аплодисменты удаляется в зал.

– Что вы желаете сказать про мистера Джона? – обращается ко мне мисс Молли, дочь англичанина – управляющего здешней фабрики.

– Что он прелесть! – вырывается у меня.

Шушуканье, недоумение и потом насмешливый голос, бросающий звонким шепотом французскую фразу.

– Побойтесь Бога, m-lle! Так не говорят в глаза молодому человеку.

И мисс Молли таращит на меня с уничтожающим взглядом свои выпуклые глаза.

– Да разве Большой Джон молодой человек?! – смеюсь я.

– А кто же он?

И маленький, веселый и добродушный Бен Джимс, товарищ Джона, заливается смехом.

– Я считаю его моим братом! – говорю я гордо. – А брат для сестры не есть молодой человек.

Тогда мисс Молли тянет насмешливо, обращаясь к сестричкам Вильканг:

– Поздравляю вас, молодые леди. У вас есть седьмая сестра.

– Нет! Нет! – кричу я. – Сестрички Вильканг мне не сестры, но Большой Джон – милый брат.

Или я не должна была говорить и этого? Ого! Какие у них сделались вытянутые физиономии, у всех шестерых сразу.

– Мисс Лида воспитывалась в институте? – спрашивает Молли.

– Ну разумеется! Не в театре же марионеток! – восклицаю я.

«Вот тебе! Вот тебе, противная марионетка», – прибавляю я мысленно, видя, как она вся вспыхнула.

– Большой Джон! Пора! Мнения собраны, – приоткрыв дверь в соседнюю залу, зову я моего друга.

Но Большого Джона там нет.

– Ушел опять к фейерверку, – слышу я чей-то возглас.

Вместо Джона я вижу Левку, одетого в чистенькую парусинную блузу, с тщательно причесанной головой. Пестрый передник привязан к поясу. В руках поднос с прохладительными напитками, клюквенным морсом и оршадом. Глаза у Левки застенчиво опущены, на лице умиротворенное выражение.

– Налей мне питья, мальчик, – коверкая русские слова, говорят гости.

– И мне!

– И мне!

Левка чинно относит поднос на стол и раздает стаканы.

Ледяной мутный оршад удивительно утоляет жажду.

– И мне.

Алиса протягивает свой стакан величественным жестом королевы. Левка поднимает глаза. Две черные молнии сверкают на миг и снова исчезают за длинными ресницами.

И вдруг – о ужас! – струя оршада льется из кувшина мимо стакана Алисы на ее нежный белый газовый туалет.

А Левка злобно хохочет, топает ногами, улюлюкает и свистит.

– Вот тебе! Вот тебе за все сразу!

Едва сдерживая слезы, негодующая, злая и красная, Алиса поднимается со своего места.

– Гадкий мальчишка! Завтра же я попрошу тебя наказать! – говорит она рыдающим голосом.

– О, мисс, его стоит проучить сейчас же. – И длинные пальцы мистера Джоржа хватают за уши Левку.

– Не смейте его трогать! Пусть с ним справляется его хозяин! – кричу я и стремительно закрываю собою Левку.

Этого только тому и надо. Он шарахнулся в сторону и исчез за дверью, предоставляя присутствующим заняться Алисой и ее испорченным платьем. А я убегаю в сад.

– Большой Джон! Ау!

– Ау! Ау, маленькая русалочка!

Он там, в конце площадки, возится с ракетами.

– Желаете помочь мне?

– Здесь веселее, – чистосердечно признаюсь я ему, – а там... – И я рассказываю своему другу приключение с оршадом.

Джон слушает внимательно, потом говорит:

– Мои сестры – удивительные девушки, но им не хватает снисхождения, а этот бедный ребенок Левка, в сущности, так несчастлив и одинок. Его родители исчезли куда-то, он стал из нужды бродяжкой, мелким воришкой. Но сердце у него привязчивое, и меня он любит по-своему. За эту неделю мне удалось уже приручить к себе этого дикого зверька. Вот, сестричка-русалочка, помогите мне обучить его грамоте. Сам я ведь плохо знаю по-русски.

– С большим удовольствием, я исполню ваше желание, Большой Джон, с восторгом! – тороплюсь я ответить.

Но тут нам приходится замолчать. Приготовления к фейерверку кончены, и гости высыпали в сад.

Бенгальские огни запылали алым заревом, как костры колдуньи, посреди площадки. Потом взвилась ракета, за нею другая, третья. Не чувствуя ног под собою, я перебегаю от одного столба к другому, поджигаю начиненные порохом палки, помогая Джону, и громко вскрикиваю каждый раз, как занимается желтое пламя. Но вот, рассыпая золотые брызги, завертелось огненное колесо.

Взрыв аплодисментов наградил нас за наши старания.

– Танцевать! Танцевать в залу! – зазвучали кругом голоса хозяек.

Фейерверк закончился.

Я и Большой Джон прибежали последними из сада.

– Маленькая русалочка, – произнес он тихо по дороге к залу, – в вашем доме поселилась бедная сирота. Ей тяжело одиночество. Не поможете ли вы бедной маленькой птичке?

– Вы говорите про Эльзу? – переспросила я. – Послушайте, Большой Джон, она, вероятно, вам жаловалась на то, что ей тяжело живется. Да?

– О, вы ее не знаете, маленькая русалочка. Эльза – золотое сердечко. Она никогда никому не пожалуется, как бы ей ни было тяжело.

– Хорошо, Большой Джон, я займусь ею, будьте спокойны.

– Я не ожидал иного ответа, маленькая русалочка. Ведь мы росли вместе с Эльзой. Она и мои сестры поднимались вместе. Я хорошо знаю это золотое сердечко. Будьте же другом этой малютке. Она так нуждается в вашей любви.

– Хорошо, Джон, прекрасно.

Я пожимаю его руку, и мы входим вместе в зал.

Дружное «ах» встречает нас на пороге. Большое зеркало в простенке между двух окон находится как раз против меня. Я бросаю в него удивленный взгляд и вскрикиваю от неожиданности.

Мое белое платье все в грязных пятнах, лицо закоптело от пороха и сажи. Черные безобразные кляксы пестрят по

подолу и тюнику.

Вот вам и пускание фейерверка!

Я смотрю на Большого Джона. Он выглядит не лучше. На белом фланелевом костюме те же пятна и грязь.

Но что позволительно молодому человеку, нельзя простить барышне, окончившей институт.

Косые взгляды, насмешливые улыбки. Разумеется, никто из этих «денди» не пожелает теперь танцевать со мною. Меня тянет домой, сию минуту. Не могу же я оставаться в таком виде на балу.

– Я иду вместе с вами, – заявляет Большой Джон.

– Но, Джонни, в день моего рождения, – шепчет Алиса по-французски.

Он упрямо мотает головой.

– Но ты вернешься, Джонни?

– Да, да, конечно.

«Солнышко» остается доигрывать партию в шахматы с самим господином Вилькангом, прямым, как струна, стариком, с лицом типичного английского лорда.

– М-Це, может быть, потанцует еще? – говорит он с почтительной любезностью, провожая нас с мамой-Нэлли до передней.

– Ах! Нет, нет! – искренно восклицаю я. – Мне хочется домой.

Он удивленно приподнимает брови. Я, кажется, опять сделала бестактность. Не следовало этого говорить. Большой

Джон беззвучно смеется.

– Ах, – говорю я с отчаянием, – сегодня у меня был неудачный дебют. Воображаю, что скажет моя голубушка мама; я, кажется, ее осрамила.

Ведь несомненно эта противная марионетка Молли, которая сразу почему-то возненавидела меня, доложила маме и про дикую скачку с Большим Джоном, и про фейерверк, и про грязное платье.

Но мама-Нэлли не хочет огорчить меня и, прижимая к себе мою руку, шепчет так, чтобы не услышал Большой Джон, шагающий по другую сторону дороги:

– Надо тебе, Лидочка, отучиться от некоторых привычек. В тебе много мальчишеского. Ты ведь взрослая барышня. Надо больше следить за собою.

– Правда, мама-Нэлли, правда! Я сама это сознаю. Ах, почему я в самом деле барышня, а не юноша-мальчуган?!

Эту мою мысль я высказываю громко. Большой Джон смеется.

– Тогда мы бы сели на корабль, русалочка, и объехали полмира.

– Целый мир, – поправляю я его.

* * *

Что это?! Едва мы успеваем отойти от фабрики, обведенной гирляндой цветных фонариков, как позади нас слышны

громкие крики:

– Джон! Вернись! Джон! Мистер Джон! Сэр, вернитесь!
Несчастье!

Крики на трех языках: русском, французском и английском.

Мы вздрагиваем и останавливаемся посреди дороги.

Белая ночь сияет расплывчатым светом. К нам приближаются светлые и темные фигуры. Впереди – девичьи; я узнаю их сразу: это Елена, Алиса, Молли, Лиза и Кетти.

– Джон, несчастье! Твой маленький слуга сбежал.

– Что?

– Левка сбежал. Его нигде нет. Ни в саду, ни в доме. Прислуга искала всюду, не нашла.

Джон медленно провел рукою по лицу, по волосам и посмотрел на своих сестер.

– Почему же вы все так испугались? – помолчав минуту, осведомился он.

– Он затеял что-то дурное, – говорит Алиса. – Он утащил монтекристо у папы и кухонный нож у повара. Это маленький разбойник.

– Что ты говоришь, Алиса! – резко произнес Большой Джон. – Левка действительно большой забияка, но это не преступник. А если он взял вещи, то я уверен, что это потому, что он думал заготовиться оружием на случай обороны.

– Недурная мысль, – заметил кто-то насмешливо.

– Я скоро вернусь. Провожу дам и приду. А вы не бойтесь.

Левка не опасен, да и потом – он, должно быть, уже далеко. Как жаль, что я не сумел уберечь мальчика.

– Он убежал, потому что побоялся возмездия, – тихонько пояснила я и тут же рассказала маме-Нэлли про инцидент с оршадом, вылитым Левкой на колени Алисы.

– А все-таки он не злой и, насколько мог, привязался ко мне за эту неделю. И из него мог бы выйти хороший человек, из этого Левки, – произнес Большой Джон. – А теперь без меня он наверняка пропадет, бедный мальчуган!

Чтобы утешить моего друга, я говорю ему, прощаясь у калитки ворот мызы «Конкордия»:

– А Эльзу я пригрею, будьте покойны, Большой Джон.

Но он ничего не слышит. Его высокая фигура с крошечной головой медленно удаляется. И, наверное, эта маленькая голова полна тревожными мыслями о Левке.

Прежде чем отпустить меня спать, мама-Нэлли говорит со мною.

Надо перемениться окончательно, надо переделать себя. Я дика, своевольна, у меня манеры мальчугана. Надо научиться держать себя в обществе. Скоро отца переведут в большой город, надо будет выезжать в общество.

Ах, зачем мне это общество?! Зачем эти выезды?! Меня к ним не тянет нисколько. Я дикая, кочевая натура. Я обожаю природу – реку, поле и лес.

Я это высказываю маме-Нэлли громко.

– Как зачем! – удивляется мама-Нэлли. – Барышне необ-

ходимо выезжать, чтобы встретить человека, с которым она свяжет впоследствии свою судьбу. Ведь назначение светской девушки – выйти замуж, быть женою и матерью, воспитывать детей.

И мама-Нэлли говорит мне еще долго-долго о том, что мечтает видеть меня довольной и счастливой матерью и женой.

– Нет! Нет! – протестую я. – Выйти замуж? Нет! У меня другой идеал жизни намечен в мыслях.

– Но что же? – осведомляется она.

– Не знаю, – говорю я робко. – Не знаю, но мне кажется, что я не смогу довольствоваться обыденной простой долей, тою жизнью, какую живут все. Мне кажется, что меня ждет что-то яркое, светлое, большое. Я должна сделать, исполнить что-то крупное, огромное, но что – я еще не знаю и сама.

Я не доканчиваю фразы, целую маму и бегу в мою голубую комнатку.

Там меня ждет толстая тетрадь моих записок и еще другая со стихами, которые я пишу с детских лет. В них изложены мои мечты. Ах, как они дерзки и смелы. Слава Богу, что никто не прочтет их.

Нет! Нет! Женою и матерью я не буду. Я отдам себя всю искусству, буду «слушать» природу, любоваться ею и писать стихи. Кто знает?! Может быть, из меня и выйдет что-либо впоследствии.

По дороге, на третьей ступеньке лестницы, я вспоминаю о просьбе Джона.

Эльза! Я должна позаботиться о ней – и поворачиваю в комнату молоденькой гувернантки.

Она спит крепко, как ребенок, подложив под щеку крошечную ладонь.

Какое милое личико. Сколько тихой покорности в этих детских чертах.

– Спи спокойно, бедная малютка. Я буду отныне заботиться о тебе, – говорю я шепотом.

Кто-то иронически смеется в дверях. Оборачиваюсь – Варя.

– Трогательная нежность, – произносит она сквозь зубы. Потом добавляет со злобой: – Говорила – околдует и тебя. А что в ней хорошего? Тряпка, трусиха, дура!

– Золотое у нее сердце, так сказал Большой Джон, да и сама она тихая, безответная, милая, – протестую я.

– А в тихом омуте кто-то водится, знаешь? – шипит Варя.

– Полно, – смеюсь я. – Полно, ведь ты не злая, Варя. Зачем же показываешь себя хуже, чем ты есть?

– Ненавижу безответных, – шепчет она.

Эльза ворочается во сне – вот-вот проснется – и мы выходим из комнаты.

– Пойдем, Варя, я буду читать тебе стихи.

Она оживляется, в маленьких глазках загораются счастливые огоньки.

– И про бал расскажешь?

– Ну уж и бал! Уморушка!

И я в лицах представляю, как вертелись и английские «миссы» с палкообразными с «денди».

– Ха-ха-ха! А ты?

– А я вот как!

И я изображаю нашу бешеную пляску – и мою и Джона.

Варя давится от хохота, зарывшись в подушки.

Позднее, совсем уже ночью, я ей читаю стихи и сама упиваюсь каким-то странным чувством радости. И я не могу представить себе иного будущего, как служение искусству на его священном алтаре.

Я передаю Варе сегодняшний разговор с мамой-Нэлли.

– Тебя? Замуж? Ну, дудки! Или уж разве если явится какой-нибудь сказочный принц! – решает она авторитетным тоном. – Ты умница, ты талантливая, ты отмеченная судьбою!

Уходя перед рассветом, Варя напоминает:

– А помнишь про двадцать четвертое? Вот и узнаем твою судьбу, что тебя ожидает. Только, чур, Эльзы не брать.

– Но почему, Варя? Втроем же веселее, – протестую я.

– Она испугается, в обморок, пожалуй, упадет. – На минуту Варя смолкает и, лукаво прищурившись, глядит на ме-

ня. – А то возьмем, пожалуй. Пусть перетрусит до седьмого поту. Ей это полезно, Я согласна, возьмем и ее.

Лежа в постели, я вяло соображаю, что двадцать четвертое июня, – та ночь, в которую мы решили с Варей попытаться наше будущее, великая Иванова ночь, – еще не скоро и что Варя успеет сто раз переменить свое решение идти в полночь на лесное кладбище собирать травы, по которым мы должны гадать, положив их под подушку на сон грядущий.²

Об этой ночной прогулке не знает никто.

* * *

– Тише же! Тише!

– Как скрипят половицы!

– Эльза, где вы? Я не вижу вас.

– Я здесь, m-lle Лидия.

– Варя, а Варя! Куда ты бежишь так скоро!

– Ах, Боже мой! Кажется, сторож Федор не спит.

Я, Варя и Эльза чуть слышно спускаемся по лестнице.

На нас темные платья, темные же шарфы на головах. Лица возбуждены, настроение приподнятое.

Сегодня Иванова ночь. В эту ночь люди гадают на двенадцати травах, собранных в полночь в лесу, положив на ночь под подушку эти заповедные травинки. Иные ищут клады.

² Гадание – греховный обычай, ничего не имеющий общего с христианством, противоречащий его законам.

Пригородный лес, по ту сторону, кишит нынче такими гадальщиками. Девушки и рабочие с фабрики, интеллигенты города, прислуга – все устремляется туда, по заведенному исстари обычаю. Жгут костры, собирают травы, плетут венки и пускают их в воду.

Но мы трое не хотим идти туда, где все. Какое же может быть гаданье в подобной суতোлке? А по инициативе Вари гадать мы должны непременно. Она хочет узнать, какая великая будущность ожидает меня, ее подругу. Что будет великая будущность – Варя не сомневается ни на мгновение. Меня это смешит.

Для нашего ночного «сбора двенадцати травинок» мы выбираем кладбище. Здесь в эту ночь не будет ни души. Все нынче в городском лесу. Кладбищенская же лесная гора, с ее песчаным грунтом, густо усыпанным сосновой хвоей, пуста и молчалива, как склеп.

Половина двенадцатого.

В доме все тихо. Дашу положили в детской на время отсутствия Вари, которая спит с детьми.

Бесшумно достигаем мы нижней площадки. Вдруг Варя вскрикивает чуть не во весь голос:

– Ах, чтоб вас!

И изо всех сил отталкивает Эльзу, которая впотьмах наступила ей на ногу.

– О, pardon! Mille pardon, m-lle Варя.

– Ты с ума сошла! Разве можно так кричать, Варя?! – воз-

мущаюсь я.

– Сойдешь тут с ума, когда прямо на нос лезет эта швейцарская мумия!

– Мумии бывают только египетские, – поправляю я Варю.

– Хоть голландские! Но зачем было брать эту тряпку с собой, – негодует Варя.

А Эльза, ничего не понимая, шепчет на своем родном языке:

– О, какая ночь, m-lle Лидия. Грешно спать в такую ночь. У нас теперь козы до утра пасутся по горному склону. И брат, фермер Пьер, пасет их до утра. Им душно в яслях. Целую ночь звенят колокольчики, привязанные к ошейникам, и одуряюще пахнут в горах ночные цветы.

– Что она там лопочет? – осведомляется Варя. – Ничего не пойму: же ву при, нос утри, же ву дон де кисель-ерундель, стрикозель... Тьфу! Язык сломаетшь. Удивительно остроумно и красиво, – поджимает она губы.

– Очень красиво, Варя, если понимать, – заступаюсь я.

– Воображаю, – корчит она гримасу, выходя на крыльцо.

Мы за нею. Ночь действительно чудесная, ароматная, почти душная. Белой змеей извивается и бежит вдаль дорога. Темно по обе ее стороны в молодой роще и в лесу.

До кладбища ходьбы минут десять.

Мы осторожно вынимаем ключ из двери и запираем ее снаружи.

– Федор уснул. Только бы прошмыгнуть через калитку, –

шепчет Варя.

Мы отлично знаем, что эта ночная экскурсия не может понравиться моим родителям; поэтому, во избежание запрета, решаем открыть нашу тайну только через несколько дней, после того как она станет фактом. Так решено по совету Вари.

Ночь, тишина. Невдалеке высится огромным курганом мохнатая от столетних сосен кладбищенская гора.

Что-то влечет нестерпимо к этому кладбищу, к этой горе.

Я оглядываюсь на Эльзу, которая плетется сзади нас. Лицо ее резко белеет в полумраке. Беру ее за руку: рука как лед.

– Вы, кажется, боитесь? – спрашиваю я ее по-французски.

– О, m-lle Лидия! Это кладбище, город мертвых. Так жутко!

Я объясняю Вале, что она сказала.

– Сидели бы дома, – огрызается Варя. – А знаешь, – обращается она ко мне, – нам ведь придется пройти мимо Гаврюшинского склепа. Кладбищенский лесок, где растут травы, как раз за ним.

– Вот отлично. По крайней мере, посмотрим, что это за страшилище, – храбро восклицаю я.

Гаврюшинский склеп – это целая легенда. Богач купец Гаврюшин покончил самоубийством, когда внезапно узнал о своем разорении. И хотя самоубийц хоронить на кладбище по церковным законам не полагается, родственники Гаврюшиша, после долгих и усиленных просьб, получили разреше-

ние и воздвигли склеп-часовенку, под полом которой в подземелье и поставили гроб отца. Ходили слух, что еженощно Гаврюшин поднимается из гроба и бродит по своему обширному склепу, к великому ужасу трусливых и суеверных людей.

Я перевожу шепотом эту легенду Эльзе на ее родной язык.

– О, m-lle Лидия! – шепчет она. – Так неужели мы пойдем туда сейчас, ночью?

– Не туда, а мимо склепа пройти придется, – успокаиваю я нашу спутницу.

Но она, по-видимому, находит мало утешительного в этих словах.

* * *

Вот и кладбище. Здесь совсем темно. Кое-где сверкает река сквозь чащу деревьев. В темноте светлые кресты кажутся привидениями, а высокие темные памятники – притаившиеся в молчании, таинственными фигурами.

Эльза идет, тесно прижавшись ко мне, дрожащая, немая. Варя храбро шагает впереди.

– Ни чуточки не страшно, – роняет она, бойко поглядывая влево и вправо. – Покойников бояться глупо и смешно. Вот ссыльных-то, которых у нас здесь много, признаться, я немножко недолюбливаю. Говорят, новую нынче партию пригнали, буяны такие, что и не приведи Бог, даже Наумский

не справится с ними. Да и Левка этот, говорят, где-то с ножищем бродит, прячется от людей, того и гляди прихлопнет. Ведь он кто? Мазурик, бродяга без совести и стыда.

– Ах, Варя, что ты. Ведь Левка еще маленький ребенок.

– Хорош ребенок – в пятнадцать лет.

– Большой Джон говорит, что из него можно было бы воспитать порядочного человека.

– То-то он и убежал от него, порядочный человек-то, – возражает Варя.

– Тссс! Silence! – слышу я шепот Эльзы, и она останавливается с вытянутой вперед рукой.

Останавливаемся и мы с Варей.

– Что с вами, Эльза? – осведомляюсь я.

– Что еще? – бурчит Варя.

– Ви видите? Ах, Боже мой! Ви видиль огонь? – она указывает вперед.

– Ну и огонь. Очень просто: лампада на чьей-нибудь могиле. Объясни ты ей, ради Бога, этой дурищ... душечке, – бросает Варя.

Но она неожиданно смолкает.

Мы замираем в молчании и смотрим, не мигая, вперед.

Вокруг нас полутьма. Сосны с черными мохнатыми вершинами жалобно скрипят над нашими головами. Смутные, движущиеся тени их стелются по земле. А там, подальше, где просторной, довольно вместительной часовней высится склеп Гаврюшина, там, наравне с землею, за решеткой само-

го подполья, где находится гробница, движется, перебегая с места на место, какой-то беспокойный огонек, будто кто-то бродит с зажженной свечою вниз в подполье.

Мы долго смотрим на этот огонек. Я чувствую, как шевелятся волосы на голове.

– Гаврюшинская тень не находит себе покоя, – говорю я.

– Душа самоубийцы, лишенная обрядных похорон и отпеваний, – вторит Варя. – Ведь запрятали его сюда без заупокойных обеден и панихид.

– Никакого тут призрака нет. Все это глупости, – говорю я громко и смеюсь не совсем, впрочем, естественным смехом.

– А вот посмотрим, – срывается у Вари.

– Что ты хочешь делать?

– Пойти и узнать, в чем дело.

– В таком случае идем вместе, – храбро предлагаю я.

Мы беремся за руки и делаем шаг вперед, туда, по направлению таинственного огонька в подполье склепа.

– Ах, ви меня позабиль. Я умираль от страха, – рыдает нам вслед Эльза.

– Тогда идем все трое! – предлагаю я и хватаю ее за руку.

Она поневоле должна согласиться.

Теперь идем мы все трое в ряд, с каждым мгновением приближаясь к страшной часовне.

Между тем огонек перестал двигаться и теперь светится уже на одном месте.

– Надо приблизиться к часовне, лечь на землю и заглянуть

внутри подполья, – бросает Варя на ходу.

Вокруг нас бесчисленные могилы и тишина.

Вот уже склеп Гаврюшина в трех-четыре сажнях, вот еще ближе, сейчас...

Огонек горит ярко прямо перед нашими глазами. Еще шаг, другой, и мы у цели.

– Ой! Нет! Я не пошел дальше, – срывается с уст Эльзы.

– Тогда оставайтесь здесь и не мешайте нам! – кричит, забывшись, Варя.

И о чудо! Тотчас же за ее криком гаснет в склепе таинственный огонек.

– Мы спугнули призрак, – лепечет, щелкая зубами от страха, Эльза.

– Что бы ни было, я проникну туда! – вырывается у Вари.

– И я! – решаю я громко.

Эльза приткнулась к стволу ветхой сосны и тихо плачет.

Но нам не до нее в эту минуту. Жгучее любопытство побеждает страх. Мы бросаемся к часовне. Дверь не заперта. На каменном полу, перед большим образом Спаса, разостлан коврик, а там, в углу, чернеет узенькая лесенка, ведущая в склеп. Темная ночь смотрит в окна часовни. Мохнатые сосны качают головами и бьются в окошке склепа. Чуть доносится до нас тихое всхлипывание Эльзы.

Вдруг шорох внизу достигает нашего слуха. Точно кто-то ворочается в подполье, еще минута-другая, и лестница скрипит под чьими-то осторожными шагами.

– Призрак! – роняет Варя, и мы застываем на месте, схватившись за руки.

Громче, яснее скрип ветхих ступенек, слышнее, ярче по звуку. Живые так не ходят.

Белая фигура вырастает перед нами.

Холодный пот проступает у меня на лбу, и ужас ожидания слегка поднимает волосы. Рука Вари, сжавшая мои пальцы, становится ледяной. А глаза наши, не отрываясь, глядят в черный провал, откуда выбегает лесенка.

Еще минута.

Легкий стон или кашель, и белая фигура вырастает перед нами, заслоняя собою черный провал.

* * *

Что было потом, я сознаю плохо. Какой-то сумбур.

Я не успела крикнуть, как белый призрак метнулся на Варю и в тот же миг отлетел от нее, отброшенный сильной рукой.

Заскрипела лестница под тяжелым телом, скатившимся по ее утлым ступеням, и что-то тяжело ударилось там внизу о каменный пол склепа.

В ту же минуту громкий стон оглашает часовню. Это стонет уже не призрак: это настоящий человеческий стон.

Варя метнулась ко мне, схватила меня за руки и, приблизив ко мне побелевшее лицо, зашептала:

– Что мне делать?! Что же делать?! Я убила человека!

С минуту мы обе молчим.

– У тебя есть с собой спички? – спрашиваю, наконец, я.

– В кармане. Вот...

Дрожащая рука протягивает мне коробочку.

Первая спичка гаснет тотчас. Мои трепещущие пальцы не слушаются меня. Еще и еще шаг.

Наконец-то!

Вспыхивает синий огонек.

Я освещаю провал лестницы, высоко подняв колеблющийся неровный свет над головою.

Белая фигура лежит у нижних ступеней лестницы на полу склепа, сжавшись в комок. Длинный саван закрывает ее с головой. Из-под савана несутся раздирающие душу стоны.

Не помня себя, я соскальзываю вниз по каменным ступеням. За мною Варя. Обе склоняемся над стонущей белой фигурой, срываем дрожащими руками саван и отступаем с возгласом изумления назад.

– Левка! Как ты попал сюда? Левка!

* * *

С минуту он смотрит на меня взглядом, полным ненависти и вражды, и силится удержать стоны, закусив губы. И вдруг раздражается злым, хриплым криком:

– О-о, проклятые! Отыскали, затравили, нашли! Две неде-

ли выжил, побирался Христа ради в дальних дереушках. Сюда только ночевать приходил. Дошли ведь, окаянные, за-
травили. Ненавижу вас всех. Дайте подрасти, придет время,
расправлюсь со всеми вами... по-свойски.

Приступ боли снова заставляет его испустить вопль.

– Нога моя! Ноженька, сломанная! О-о-о-о! Кровопий-
цы! – стонет Левка.

– Он вывихнул ногу при падении! – шепчет Варя. – И это
я виновата! Я! Я! Я!

– Левка, – говорю я спокойно, – послушай, голубчик, ты
никого не должен бояться, потому что никто из нас не при-
чинит тебе зла. Скажи, где у тебя болит, Левка, чтобы мы
могли помочь тебе.

– Убирайся! – кричит он. – Убирайся, или...

Тут он свирепо взмахивает кулаком. В одну секунду Варя
заслоняет меня.

– Смей только тронуть барышню! – угрожающе кричит
она мальчугану. – Смей только!

– Ах, чтоб вас...

Чья-то тень заслоняет в эту минуту вход в часовню, там
над нашими головами. Мы все вздрагиваем от неожиданно-
сти.

– Большой Джон! – раздражаюсь я после минутного коле-
бания радостным криком.

Да, это он, Большой Джон.

– Что за ночное сборище? А? – говорит он шутливо. – За

мною прибежала Эльза сама не своя и так забарабанила в мое окошко, что сразу весь дом перебудила среди ночи. Говорят, тут покойники гуляют, а наши храбрые барышни...

Он не договаривает и из-под полы широкого плаща вынимает маленький ручной фонарик.

– Ба, старый знакомый! – весело кричит он, заметив Левку на полу склепа. – Так вот ты где прятался от меня целых две недели! Довольно-таки остроумно придумал, маленький человек. Стащит чью-то простыню, изображать покойного Гаврюшиша, пугать народ и за это пользоваться дарованной квартирой. Недурно, товарищ, совсем не дурно! Однако что с тобой? Упал с лестницы? Вывихнул ногу? Та-та-та! Ты сто-нешь, стало быть, здорово больно тебе? А, Левка? Бедный!

На лице Джона теперь тревога.

Левка молчит.

– Вот в чем дело, товарищ: нужно осмотреть твою ногу. Не нравится мне, как она подвернута, братец ты мой.

И Большой Джон осторожным движением пробует снять сапог с распухшей ноги Левки.

Крик вырывается из груди последнего.

Тогда Большой Джон передает мне фонарик с коротким: – Посветите мне, маленькая русалочка.

Выхватив из кармана складной нож, он раскрывает его и мигом разрезает кожу на сапоге Левки.

Я едва сдерживаю крик при виде этой посиневшей и вздувшейся ноги.

Левка стонет, гримасничая от боли.

– Делать нечего, братец, придется тебе вернуться к нам на фабрику, – покачивая головой, говорит Большой Джон. – Без доктора и лечения, видно, не обойтись.

– Не хочу на фабрику, – бурчит Левка.

– Ну, тогда ты, может быть, предпочитаешь попасть снова в казармы ссыльных? – обращается к нему Большой Джон. – Ведь ты не круглый же дурак, чтобы не понять, что крик твой услышан людьми и что не позднее как через несколько минут сюда сбегутся из предместья и вытащат тебя из твоего убежища.

Левка только заскрипел зубами вместо ответа.

– Послушай, братец, – заговорил снова Большой Джон, и его большая рука опустилась на плечо мальчика, – скажи мне прямо и правдиво: обидел ли я тебя чем-либо, когда ты жил у меня?

Минутная пауза и вслед за ней срывающийся, отрывистый голос:

– Нет.

– Был я тебе другом или господином?

Снова пауза, усиленное сопение носом и чуть слышное, как бы нехотя сорвавшееся:

– Другом.

– Тогда возвратись ко мне.

– А барышни? Небось забижать станут, – угрюмо сорвалось у Левки.

– Эге, что вспомнил! – засмеялся Большой Джон. – Да нам с тобой, братец ты мой, и дела-то никакого с ними вести не придется. Во-первых, я тебя на фабрику определю, в сортировочное отделение ситца, а во-вторых, дружок мой, мы после Казанской ярмарки махнем туда, куда иным попасть и во сне не снится. Сядем мы, братец ты мой, сначала в поезд, а потом на большой корабль и поплывем за океан, в Америку, что ли. Хорошо там, братец. Бананы, апельсины, кокосы – орехи такие на вольном воздухе зреют. Мартышки по деревьям прыгают. Преуморительные мартышки, я тебе доложу! Львы и слоны на воле; охоты на них, облавы разные устраиваются. А в лесах дикие племена рыщут, на деревья, на солнце еще многие из них молятся – идолопоклонники они, значит. Пойти в их дебри, усювестить их, на истинную веру наставить, сделать такими же, как мы, христианами! Что, братец, разве не интересно?

– А ежели убьют? – забывая про адскую боль в ноге, прошептал Левка.

– Ну, вот тебе так сразу и убьют! – засмеялся снова Большой Джон. – Не надо, братец, чтобы убивали. Осторожно действовать надо. Да ты вот что, поехал бы со мной туда?

Левка задумался на мгновенье.

– Поехал бы, – прошептал он тихо, и глаза его ярко блеснули.

– Ну, так, стало быть, отнести тебя домой ко мне и доктора позвать?

– Стало быть, позвать, – уныло согласился Левка.

– Вот и молодчина! Маленькая русалочка или вы, мадмуазель Варя, посветите мне кто-нибудь, пока я выволоку нашего молодца из этого ужасного помещения.

И, говоря это, Большой Джон легко, как перышко, поднял с земли Левку, осторожно прижал его к своей сильной груди и вынес из склепа и часовни.

У входа ее к нам бросилась Эльза.

– Я бегал, я привел! – указывая пальчиком по направлению Большого Джона, говорила не без некоторой комической важности маленькая швейцарка. – А m-lle Варя говорил, что я совсем не храбрая, – заговорила она, гордо приподнимая головку.

Так вот оно что!

Бедная Эльза, чтобы угодить Варе и снискать ее расположение, рискнула бежать одна по темному предместью за Большим Джоном.

Я поцеловала девушку, потому что Варе было не до нее. Убитая и мрачная, она то и дело обращалась ко мне с вопросом:

– Как ты думаешь? Имела ли я право оттолкнуть его, когда он бросился на меня, как тигр, этот негодный мальчишка?

– Если бы ты поступила иначе, то с вывихнутой ногой лежала бы сама, – говорю я ей так же шепотом, без малейшего колебания.

– Ты уверена в этом вполне, Лида?

О, милая, честная, суровая Варя! В твоей благородной душе, я вижу, сейчас идет страшная борьба. Ты считаешь себя виновницей происшествия.

Я шепчу ей тихо:

– Ты ни в чем не виновата! Ведь должна же ты была защищаться, наконец!

Она с благодарностью сжимает мою руку.

* * *

Ночь еще не успевает расплыться в предутреннем тумане, когда мы все четверо подходим к фабрике. На руках Джона стонет Левка. В белом доме директора темно. Все спят. Только в окне Большого Джона светится приветливый огонек. У ограды сада мы прощаемся. Большой Джон успокаивает нас, что Левка быстро поправится, и прибавляет, что воспользуется случаем, чтобы начать учить Левку грамоте.

– Большой Джон! – говорю я. – Позвольте мне заниматься с Левкой. Я бы очень хотела помочь ему выучиться читать и писать.

Эта мысль приходит внезапно, как и все, что ни является мне на ум.

Большой Джон смотрит на меня внимательно и молча.

– Маленькая русалочка, – говорит он, – это ваше решение серьезно?

– Как нельзя более серьезно, Большой Джон! – отвечаю я

без запинки.

– В таком случае большое вам спасибо. Я сам недостаточно владею знанием русской грамматики, чтобы выступить ее преподавателем, и очень вам признателен за это. Так как Левку ученого гораздо легче таскать за собою по всему миру, нежели Левку безграмотного, то ваше предложение как нельзя более кстати.

От этих слов моего друга что-то падает в моей душе, точно тяжелый камень на дно пропасти.

– Так это правда? Вы не шутите? Вы действительно уезжаете в Америку, Большой Джон?

– Ну да, маленькая русалочка! Этим не шутят. Я давно чувствовал призвание к деятельности миссионера, – говорит он так, что я не могу понять – шутит он или серьезен.

– Но ведь вы же математик, Большой Джон! – говорю я в отчаянии. – Зачем же вам отдавать себя на ужин дикарям!

Он смеется беззвучно и, бросив мне на ходу: «Надо заняться Левкой», исчезает в темной аллее директорского сада.

А мы трое, взволнованные, отправляемся домой.

Вот как неожиданно и странно закончилась наша ночная экскурсия, о главной цели которой мы, разумеется, позабыли давным-давно.

Ясный июльский полдень. Второе число жаркого месяца. Я сижу на террасе мызы «Конкордия» с учебником русской грамматики в руках. Передо мной Левка.

Вывихнутая нога его давно зажила. Он вполне оправился, работает на фабрике и ходит ко мне в часы рабочего перерыва учиться.

Левка удивительно способный ученик. В полторы недели мы прошли с ним азбуку и склады. Сегодня был первый урок грамматики. Имена существительные, одушевленные и неодушевленные, живейшим образом занимают Левку. Он не согласен с грамматикой, где говорится о том, что дуб – предмет неодушевленный и роза также.

– Вот врут-то твои ученые! – с жаром кричит он (в минуты высшего волнения Левка говорит всем «ты»). – Вот-то врут! Да нешто дерево либо цветок какой не чувствует боли, когда их рубят или срывают?

– Чувствуют, Левка, только души-то у них все-таки нет.

– Да как же без души-то больно? – допытывается он и усиленно теребит свою густую черную шевелюру.

Я объясняю, но объяснение мое выходит «не от чистого сердца». В моей мечтательной душе давно сложилось странное убеждение, что все растущее – живое царство, живо духом, как и животные, и лучшее творение Бога, человек. Так

ясно чудится мне: у тополей лица вечных юношей, с чуткими поэтическими сердцами; у дубов мудрая душа старцев, опытных жизненных борцов; у незабудки – чистая, как слеза ребенка; у розы – прекрасная, непонятная и немая; у тюльпана – напыщенная и глупая, так далее, и так далее без конца.

Я делаю лукавую физиономию и высказываю мои предположения Левке. Он в восторге.

– А у крапивы душа «доброй ведьмы», понимаешь?! Ха-ха-ха!

Я отлично понимаю, что он хочет сказать, и хохочу.

Добрая ведьма – это Варя. Так ее прозвал Левка за резкий тон и постоянные осуждения всего того, что ей самой кажется нехорошим, дурным. И в то же время я знаю, что, как и все в доме, Левка «уважает» Варю за ее неподкупную честность и суровую простоту. Он инстинктивно чувствует, что под этой суровой внешностью бьется доброе, отзывчивое сердце. Недаром же маленькое поколение нашей семьи, – Павлик, Саша и Нина, – обожает Варю.

– Добрая ведьма – крапива! – хохочем мы оба.

Учительнице всего семнадцать лет, ученику – пятнадцать. И в сущности оба мы – дети. Хочется шалить и дурачиться, хохотать до одури, до потери сил.

– Сегодня Джорж Манкольд, конторщик, на гладком полу в сортировочной растянулся, – неожиданно объявляет Левка, – и шишку набил, во какую.

Я вспоминаю длинного прилизанного джентльмена, мыс-

ленно прилепляю ему шишку ко лбу и хохочу.

– Знаешь, ссылные наши из последней партии совсем удрали из казармы. Фабричные рассказывали: намедни они забрались к исправнику на ледник, съели все, что было там, и, оставив записку: «Благодарим за угощение, Премного довольны» – ушли.

– Ха-ха-ха!

Левка все утро работал в сортировочной и отсюда снова пойдет в душную камеру фабрики, почему же не потешиться, не поохотать.

Неожиданно распахивается дверь балкона, и перед нами предстает Варя, желтая, как лимон, с турецкой чалмой из мокрого полотенца на голове.

– Бесстыдница! – шипит она. – Бессовестные! Шли бы хохотать в другое место: голова трещит, как печка. Боли такие, что жизни не рада, а они гогочут. Тьфу!

Голова в турецкой чалме энергично сплевывает в сторону и исчезает.

Бедная Варя. Как мы о ней позабыли? С детства она страдает ужасными, не поддающимся описанию головными болями. Это повторяется обязательно раз в неделю. От головных болей, длящихся сутки, Варя не находит себе покоя. Она и к Спасителю пешком ходила, будучи в Петербурге, и к Скорбящей, и маслом из лампы от Киево-Печерских святителей мазала – ничего не помогало. В докторов Варя не верила: эта суровая, полная мистицизма душа предпочитала

всем лекарствам молитву. И теперь Варя ждала храмового праздника Казанской Божией Матери, в честь чудотворной иконы Богородицы, ежегодно празднуемого восьмого июля в маленьком Ш., твердо веря, что одна лишь Царица Небесная ее исцелит от болей. В прежние Казанские Варя уезжала с детьми на лето в имение мамы-Нэлли, и ей не приходилось молиться.

В другое время я преисполнилась бы жалости к больной Варе, но сейчас я была невменяема от охватившего меня веселья. Левка – тоже.

– Добрая ведьма! Турок!

Новый взрыв хохота, и мы срываемся с места и вылетаем в сад.

Там дети с Эльзой.

Молоденькая гувернантка напевает веселую швейцарскую песенку, под звуки которой дружно маршируют с ружьями на плечах, с важным видом оба их братишки и сестренка.

– Эскадрон, стройся! – кричу я и, схватив Ниночку на руки, сажаю ее на плечо и мчусь вперед.

За мной Левка, успевший схватить толстенького, пыхтевшего, как паровик, Сашу, Дрыгавшего от восторга пухлыми ножонками.

Павлик и Эльза бросаются за нами, стараясь отнять детей. Мы визжим, несемся, выбегаем из сада, мчимся по дороге и... налетаем на странное шествие.

Я первая, покраснев, останавливаюсь с виноватым видом.

По дороге шествуют гуськом человек десять. Впереди всех длинный рыжий джентльмен – конторщик, господин Джорж Манкольд, со съехавшей на затылок панамой. На лбу его сияет великолепная, заклеенная розовым пластырем шишка. В одной руке огромная бутылка с молоком, в другой не менее большой каравай хлеба. За ним идет мисс Елена. За Еленой – Молли Манкольд. За Молли – Алиса, Кетти, Мэли, Лиза и Луиза. У каждой из барышень по небольшой корзиночке в руках. В корзиночках уложены самым тщательным образом всевозможные съедобные припасы, от колбасы до яблок.

Шествие замыкает маленький толстенький Бен Джимс, который, отдуваясь от жары, несет большой никелевый самовар, осторожно сжимая его в объятиях. Кран самовара, незаметно для Джимса, открылся, и порядочная струйка, к счастью, еще холодной воды весело сбегает на его белый костюм и безукоризненные желтые туфли.

Все это кажется мне до того забавным, что я опускаю на землю Ниночку и, задыхаясь от смеха, сажусь на придорожную скамью.

Левка шмыгает за широкий ствол дерева и прячется там. Его не успели разглядеть. Но зато меня заметили сразу.

– Мисс Лида! М-lle Лида! М-lle Воронская! – слышу я приветственные крики, и миг нас с малюткой Ниной окружают молодые леди и джентльмены.

– Какая прелесть! О, маленькая птичка! – восторгаются они моей сестренкой.

Ниночка – крайне благоразумная для своих четырех лет маленькая особа. Но тут она растерялась: я вижу, как губки у нее складываются в плаксивую гримасу, носик морщится. Вот-вот она сейчас разразится плачем от этих непрошенных ласк и поцелуев.

Как избавиться от них сестренку?

– Куда вы идете? – обращаюсь я по-французски к барышням и молодым людям, чтобы отвлечь их от ребенка.

Молли поднимает голову и, тряхнув пышными белокурыми волосами, заявляет важно:

– У нас предстоит маленький пикник! Завтрак на лоне природы. Прелестная затея, не правда ли?

– Мы решили идти в лес и позавтракать среди мха и деревьев.

– В обществе букашек и комаров, которые будут падать в изобилии в наши стаканы! – прибавляет Бен и еще нежнее прижимает к груди самовар.

Он самое симпатичное для меня существо в этой компании. И потом, он друг Большого Джона и, следовательно, должен быть мне симпатичным: друзья наших друзей – наши друзья. Поэтому я и решаю, что мне необходимо оказать ему маленькую услугу.

– Месье Бен. – говорю я громко, – Закройте кран в вашем самоваре.

Едва я успела произнести эту фразу, как все «миссы» и длинный мистер покатались со смеха.

Воспитанные, корректные барышни, забывшись, хохочут до слез.

Почему? Что я сказала такого? Ах, поняла. И слезы стыда обожгли мне веки. Какая непростительная ошибка! Я сказала: закройте «камин» вашего самовара, так как *La cheminee* – камин по-французски, а кран, который я советовала закрыть Бену, – *La robinet*. Так вот почему они так смеются. Камин в самоваре! Недурно!

Алиса, Елена и Мэли, впрочем, сдерживаются, кусая губы и глазами останавливая сестер. Бен рассыпается в благодарностях передо мною, но зато другие: длинный Джорж хохочет громко, скаля свои желтые зубы, а Молли, та просто невменяема.

О, как я ненавижу их! Нельзя же издеваться над человеком, который ошибся по рассеянности. Я с детства говорю по-французски и если обмолвилась ненароком – моя ли в том вина?

– У вас проходят языки в институте? – спрашивает Молли, в то время как глаза ее все еще смеются.

– Обязательно! – отвечаю я, поймав в ее голосе язвительную нотку. И, мгновенно вспыхивая от злости, добавляю: – Мы должны все уметь говорить по-французски и немецки, так как приходится постоянно сталкиваться с иностранцами. Я, например, никогда не рискну поселиться в Англии, так

как не знаю ни слова по-английски.

Ага! Получай! Ты покраснела? И великолепно! Поняла, значит, что стыдно жить с детства в России, зная только два слова: «извозчик» и «мужик».

Теперь очередь Молли краснеть.

Но смеялась не одна она, смеялись и другие. Мне хотелось и их наказать. Что, если испортить им сегодняшний пикник «на лоне природы»? Отравить страхом этот праздничный завтрак весело настроенных людей? И вот я делаю мрачное лицо, хмурю брови и с угрюмым видом обращаюсь ко всей компании:

– Как вы не боитесь идти в лес, когда из казарм Наумского убежали новые ссыльные и рыщут в предместье.

– Что?!

У всех барышень лица вытягиваются. Джорж Манкольд выпучивает на меня глаза с таким видом, точно из ссыльной казармы бежала я, а не партия беспаспортных бродяг. Огромная бутылка с молоком прыгает у него в руках, как живая.

– Ссыльные сбежали? – спрашивает он испуганно.

– Да! Да! – с восторгом подхватываю я. – Сбежали от Наумского, бродят по лесу, на кого-то уже набрасывались и кого-то ограбили нынче утром. Вот Левка говорил, расспросите его.

Теперь Левка важно выступает из-за дерева и, переглянувшись со мною, начинает роскошную импровизацию о де-

боширствах ссыльных.

Лица барышень бледнеют. Явная тревога и страх отпечатываются на них. Джорж Манкольд хмурит брови, и взгляд его озабоченно перебегает из стороны в сторону.

Один Бен спокоен и, как и прежде, занят своим самоваром.

Вдруг Джорж говорит с улыбкой:

– Это все выдумки. Русская барышня трусит напрасно. Мне, по крайней мере, никакие ссыльные не страшны. И если будет нападение, я, как истый джентльмен, буду защищать вас до последней капли крови.

Последнюю фразу он цедит по-английски и величественно ударяет себя в грудь.

Но я отлично поняла слова: «выдумка» и «трусит», относившиеся ко мне. И татарская кровь моих предков бурно заклокотала в моих жилах.

Я выдумщица?! Я трусиха?! Ну погоди же! Увидим, какой ты джентльмен!

Взволнованная, я стою на краю дороги, прижимая малютку Нину к себе. Левка подле меня; глаза его смеются. Мы научились с одного взгляда понимать друг друга, и он, как в открытой книге, читает в моей голове.

Мимо нас снова тянется великолепное шествие: Джорж с бутылью, семь барышень с провизией и толстенький Бен с самоваром.

Проходя мимо меня, все они величественно кивают мне

головами. Бен смеется и шепчет лукаво, поравнявшись со мною:

– Как жаль, что вы не с нами. Было бы во сто раз веселее. Честное слово!

– Хорошо! Вы еще услышите обо мне! – успеваю я ответить ему чуть слышно.

* * *

– Ну, Левка, за мной!

Ниночку мы передали с рук на руки Эльзе.

Маленький револьвер-бульдог, заряженный холостыми зарядами, в моем кармане, однако из него трудно бить ворону. Это подарок Большого Джона. Левка, с игрушечным монтекристо моего старшего братишки в руках, пробирается кустами в самую чащу, где уже делают костер и откуда несется веселая трескотня на английском языке. То-то будет потеха!

План действий давно созрел в моей голове. Напугать надменных англичанок, выставить «джентльмена» Джоржа в самом непривлекательном свете – новый замысел Лиды Воронской.

Мы пробираемся сквозь кусты, беззвучно смеемся, и оба преисполнены задора.

– Стоп! Мы у цели. Стоп!

Я команду шепотом и останавливаюсь. Левка берет ру-

жье на прицел: дулом на воздух.

– Ну, штука! – говорит он шепотом, захлебываясь от восторга. – Ах, чтоб тебя, придумаешь!

И тот же восторг отражается в его черных глазах.

Перед нами поляна. Посреди пылает костер. Вокруг костра, важно рассевшись на пестрых пледах, все семь барышень и два молодых человека с аппетитом уничтожают тартинки, изредка перебрасываясь короткими английскими фразами. Джорж Манкольд важно оделяет всех молоком из огромной бутылки.

– А ну-ка, Левка, свистни. Пора! – шепчу я моему спутнику, загораясь необузданной жадой шаловливой проделки.

Левка знает уже, что должна означать моя фраза.

У ссыльных есть свой особый посвист, которого так бояться мирные горожане Ш. За этим посвистом следует обыкновенно какая-нибудь проделка. И, разумеется, такой посвист должен произвести потрясающее впечатление здесь, в лесу.

Все участники пикника веселы и беспечны. Молли кокетливо улыбается и кушает тартинки, едва раскрывая рот, как бы для того, чтобы убедить всех, как он у нее мал и изящен. Алиса гордо поводит глазами и что-то оживленно говорит о «мисс Лиде», то есть обо мне. Все остальные англичаночки пожимают плечиками.

Все это по моему адресу, я отлично понимаю. Ага! Так-то! Отлично!

– Мисс Лида, – говорит Джорж и прибавляет что-то очень

остроумное, должно быть, по моему адресу, и взрыв смеха оглашает поляну.

Но, увы! Ему не суждено длиться долго... Левка, приложив палец ко рту, издает ужаснейший свист.

– А-а-а-а! – вопят барышни, вскакивают с травы и начинают метаться по поляне, собирая остатки провизии в корзины.

– Пли! – снова шепчу я Левке, и в тот же миг шелканье монтекристо и выстрел моего бульдога, а за ним другой, третий и четвертый оглашают лес.

Дружный визг проносится вслед за этим по лесной чаще. Я выглядываю из кустов и вижу: Мэли и Лиза бегут, взявшись за руки, прямо в кусты и визжат, как поросята. Елена от страха опустила траву. Алиса схватила самовар и стала в оборонительную позу. Бен, отчаянно жестикулируя, уговаривает Кетти и Луизу не волноваться. А те мечутся по поляне, не находя места, куда скрыться.

– Ссылные! Разбойники! – вопят они по-французски, обе бледные, как смерть.

Молли, с подкосившимися от страха ногами, сидит на траве и лопочет что-то, а храбрец Джорж, забыв все на свете, трясущимися руками льет молоко из своей огромной бутылки прямо на великолепную прическу Молли и на ее воздушное батистовое платье.

Едва сдерживая смех, я стреляю еще раз в воздух и выхожу на поляну.

Мимо меня метнулось что-то длинное, высокое, рыжее и худое, и фалдочки Джоржа скрылись в кустах.

Храбрый джентльмен, вместо обещанной защиты барышень, предпочел дать тягу.

Не владея собою, я заливаюсь смехом. Бен, сразу поняв, в чем дело, вторит мне с самым добродушным видом. Барышни успокаиваются, и суэта на поляне понемногу прекращается.

– Прошу прощения! – говорю я вежливо. – Мы с Левкой пробовали оружие, а то негодный ястреб повадился воровать цыплят у нас на мызе; надо же найти на него в конце концов суд и управу. Но что с вами, m-lle Молли? – прибавляю я совсем уже невинно.

Голова Молли, ее пышный шиньон прически белы и мокры, точно от снега.

– Боже мой! Молоко! О-о! Джорж не очень-то храбр, по видимому. Но где же он, однако? – говорю я, едва удерживаясь от смеха, в то время как Левка просто катается по траве.

Молли, злая и надутая, как индюшка, приводит себя в порядок при помощи сестричек.

– Глупая шутка! – ворчит она сквозь зубы. – Можно было напугать до смерти.

– Слава Богу, однако, никто не умер! – подхватываю я весело, но мгновенно замолкаю при виде вылезшего из кустов Джоржа.

Его шляпа потеряна. Рыжие волосы в беспорядке. Он

смотрит испуганно и смущенно лепечет что-то о разбойниках – ссыльных, стрелявших в лесу. Он поистине жалок, и я могу быть удовлетворена вполне. Сестрички и Бен всячески успокаивают его.

Мы с Левкой молча раскланиваемся и исчезаем.

* * *

А лето подвигается все дальше и дальше, на редкость жаркое лето. Знойно дышит большое озеро, накаленным воздухом несет от леса. Даже близость реки не помогает.

У Вари головные боли повторяются теперь ежедневно, приводя ее в отчаяние.

– Вся надежда на Царицу Небесную! – говорит она мне часто. – Захочет исцелить Владычица Казанская. Помнишь, ты мне давала книгу, в которой рассказано, как исцелилась девушка по милости Божией Матери от хронической болезни ног? Вот скорее бы Казанская пришла.

А праздник Казанской иконы Божией Матери приближается. Это видно по всему: множество духовенства съезжается в маленький город; огромное число молящихся едет и идет сюда; церкви украшаются по-праздничному; на городской площади идут приготовления к ярмарке и гулянию.

Нашим прислали почетные билеты на места У окон городской управы, мимо которой пройдет крестный ход. Но мы с Варей упросили отпустить нас «в народ», чтобы видеть чудо-

творную икону близко-близко, чтобы получить возможность очутиться под нею хоть на минуту, когда ее понесут в процессии, высоко поднятой над головой.

Этого хотела Варя.

– Я чувствую. Я чувствую. Лишь только Владычица очутится надо мною, мои головные боли пройдут, исчезнут навеки, – шептала она мне в религиозном экстазе. – Исцелюсь я, Лидочка; только ты попросись у твоих отпустить нас в толпу.

И я просила, молила об этом и папу-«Солнышко» и маму-Нэлли. После предостережений держаться в стороне, не лезть в «самое пекло» разрешение это нам было дано.

* * *

Наступил наконец давно ожидаемый день. С утра в безоблачном небе палило солнце. В двенадцать часов мы вышли из дома: «Солнышко», мама-Нэлли, дети, Варя, Эльза и я. Два заранее приготовленных городских извозчика повезли наших с Эльзой по направлению к улице, где помещалась городская управа. Я и Варя, в простых ситцевых платьях, с легкими шарфами вместо шляпок на головах, как настоящие богомолки, пустились пешком навстречу крестному ходу.

«Солнышко» перед тем, как сесть в наемную коляску, долго и тревожно убеждал меня присоединиться к ним, отменив решение идти в толпу. Но я взглянула на замкнутое ли-

цо Вари, на ее бледные сжатые губы, на решительные глаза, говорившие: «Все равно я пойду одна, если ты откажешься. Пойду непременно. Потому что там исцеление и счастье для меня».

– Ну разумеется, их не переупрямить обеих! – пожимая плечами, произнес раздосадованный отец. – Держитесь в стороне, по крайней мере. А то ведь задавят вас. Ради всего святого, прошу вас, подальше от толпы.

– Ну конечно, «Солнышко», ну конечно! Будь спокоен!

Я вижу в его глазах тревожные огни. Лицо мамы-Нэлли тоже беспокойно.

Ах, я не могу отступить, родные мои. Не сердитесь на меня.

Когда извозчик отъезжает, отец оборачивается еще раз и кричит:

– Помните. В два часа ждем вас в управе. А то беспокоиться будем! Возвращайтесь скорей.

– Да, да, конечно! Поезжайте с Богом! – кричу я весело и задорно.

Но тут новая остановка. Мой младший братишка, обожающий Варю, начинает реветь во все горло.

– И я хочу! И я тоже с вами на крестный ход! – картавит он, вырываясь из рук Эльзы, держащей его на коленях.

Варя подбегает к нему, обещает принести игрушку, говорит что-то смешное и нервно держится за виски. Голова у нее сегодня с утра горит и болит ужасно. Глаза – почти безумные

от нестерпимого физического страдания.

– Ну, идем же, – шепчет она мне.

Пока мы шагаем по предместью, нас то и дело обгоняет запоздавший из соседних деревень народ. Чем ближе к городу, тем толпа гуще и пестрее. Но вот смутный гул несется с площади – там огромная шумная толпа ждет процессии. Здесь и горожане, и крестьяне, и нищие – целые полчища нищих, калек и убогих. Кликуши выкрикивают на разные голоса; блаженные и слепые выпевают дрожащими голосами мольбы о подаянии. Детские нежные голоса изредка прорезают этот гул.

Между ларьками, еще не окропленными святою водою до начала ярмарки, снуют подростки. Высоким фальцетом черный худой монах, босой, в растерзанной рясе, рассказывает народу о том, как появилась первая чудотворная икона Владычицы:

– Шведы осаждали крепость, отбитую у них русскими. Наши дружины засели в крепости и защищались. Но с каждым днем падали русские силы и одолевала вражья рать. И вот кто-то заметил трещину в крепостной стене, точившую влагу. Разломали часть каменной ограды и видят: Пречистый образ, замурованный в стене, точит слезы. Чистые святые слезы на Лике Бог весть откуда появившейся иконы Царицы Небесной. И вспыхнули новым боевым духом русские дружины. Помолились Владычице, поместили ее в крепостном соборе и с новыми душевными силами ринулись на врага. И

одолели, и покорили шведа. С тех пор и празднуется годовщина этого великого события в Ш., и тысячи, десятки, сотни тысяч богомольцев стекаются сюда в этот день.

Монах заканчивает свое повествование кратким словом и начинает снова.

– Идем на главную улицу, – шепчу я Варе, – здесь задавит толпа.

– Да, да, пойдем навстречу процессии. Уже скоро! – отвечает она каким-то странным, будто не своим, голосом.

Я оглядываюсь на Варю.

Какое удивительное лицо. Без кровинки и полное вдохновенного ожидания.

– Варя, – говорю я, – ты веришь, что исцелишься?

– Бесконечно верю! О, как я страдаю, если бы ты знала только, какая это невыносимая, адская боль! Но теперь уже недолго, я знаю, я уверена.

Мы с трудом протискиваемся на главную улицу. Здесь не меньшая толпа. Посреди нее тянется узкая шеренга. Держась один за другого, крепко ухватившись за платье друг друга, стоят гуськом богомольцы. Голова этой живой многоликой змеи, должно быть, далеко за городом, хвост – на противоположном конце, у самых вод бурной Ладоги. А кругом теснится народ, образуя новые и новые течения, новые шеренги.

Распоряжается всем Наумский со своими ссыльными – распоряжается умно и толково. И все подчиняются ему.

– Полковницкая дочка пришла с ихней бонной, – узнав

меня, говорит рыжий староста и, растолкав кого-то, втискивает нас в главную шеренгу.

Впереди меня Варя. Позади какая-то старуха в черном платочке, с котомкой странницы на спине. А перед нами и за нами бесконечные зигзаги людей, которые сплелись в длиннейшую гирлянду. С боков толпа, беспорядочно топчущаяся на месте. Над головами синий купол с разорванным на нем кружевом облаков и жгучее полуденное светило. Свистки пароходов прорезают то и дело звон колоколов. Изредка слышится визгливый, полный ужаса и муки вопль кликуши или певучий речитатив сборщика подаяний на храм Божий.

– Идут! Идут! Ближе Владычица! – неожиданно раздается чей-то громкий голос, и вся толпа по бокам шеренги, как стоголовая гид-ра, поддается вперед.

– Ой, батюшки! Ой, угоднички! Задавили! – раздается чей-то придушенный голос, и мгновенно все сразу смолкает.

Показывается голова процессии. Ярко горя золотой ризой иконы, на высоко поднятых носилках, среди хоругвей и образов на древках, плывет по воздуху Владычица Казанская. Издали слышатся церковные напевы. Сверкают ризы духовенства. Белеет клобук архиерея. Гремят звонкими голосами певчие. И все это на фоне неумолкаемого колокольного звона.

Владычица все ближе и ближе. Уже можно различить светлый, пречистый облик Божественного, прекрасного лица Страдалицы Матери и Младенца, обреченного на жертву

для искупления людских грехов. Прямо перед нами дивное детское личико и скорбные слезы Матери в темных очах.

Золото икон и хоругвей ослепительно.

Я невольно вскидываю глаза на Варю.

Вся ее сильная, широкоплечая фигура дрожит мелкой дрожью. Ее бледное, без кровинки лицо видно мне в профиль. Помертвевшие губы ее шепчут:

– Исцели! Спаси! Исцели, Чистая, Прекрасная, Невинная! Избавь от муки рабу Свою, Чистая, Прекрасная! Царица земли и неба! Спаси! Исцели! От адской боли избавь, исцели меня!

На ее ресницах нависли слезы. На мертвенно бледном лице восторг, ужас, вера и мука слились в одно целое.

И вмиг ее напряжение передается мне.

– Избавь, исцели Варю! – шепчу я вслух, забывшись, стискивая руки, так что мои тонкие пальцы сплетаются до боли и хрустят в суставах.

А Владычица все ближе и ближе. Теперь Ее кроткие темные глаза и чистые детские глазки Божественного ребенка точно глядят нам прямо в лицо. Уже тонкая струйка ладана и запах розового масла, исходящие от златотканых покровов, устилающих носилки, доходят до нас.

Вдруг голубой туман застилает от меня и головы народа, и золото икон и хоругвей, и блестящие ризы духовенства, и я вижу одни глаза.

Только глаза Светлой и Прекрасной Девы, затуманенные

слезами. Что-то подкатывается к горлу, что-то душит его. А глаза все ближе, все яснее. Кружится голова. Запах ладана туманит мысль. Я почти лишаюсь сознания от волнения, переполнившего все мое существо.

– Головы наклоните! Головы! – кричит чей-то голос. И я машинально склоняю голову, плечи, весь стан.

Певчие поют: «Радуйся, Благодатная!»

Что-то шуршит надо мною, и розами райских садов наполняется воздух, их ароматом, тонким и мистическим.

«Она здесь! Она над нами! Я чувствую! Я вижу, не глядя!» – рвется в моем мозгу последняя сознательная мысль.

И снова легкое шуршанье, шелест шелка и старых византийских пелен покровов. И безумный восторг и мольба к Царице.

– Исцели, Прекрасная, Варю! Исцели Ты, Могучая и Кроткая, Великая и Благая!

* * *

Еще миг, еще и, словно проснувшись, я оживаю.

Пронзительный выкрик кликуши позади и чей-то тихий, блаженный шепот.

Варя передо мною. Глаза – огромные на исхудавшем за час высшего напряжения лице. Порозовевшие губы шепчут:..

– Не знаю, что это, но... но... я не чувствую боли, никакой боли. Ах, Лида, Лида!

Она протягивает руки к уплывшей далеко по воздуху на высоких древках иконе и рыдает. Рыдает громко, каким-то восторженным счастливым рыданием.

– Не чувствую боли! Нет! Нет! – повторяет Варя все так же блаженно и изумленно.

Потом хватает меня за руку:

– Бежим скорее, скорее! Рассказать нашим. Нет боли! Пойми, исцелена! Исцелена я, Лида!

И опять рыдание ликующее, безумное потрясает ее грудь.

Мы схватываемся за руки и вырываемся из шеренги. Берем вправо – толпа; влево толпа еще плотнее. Тогда через силу пробираемся сквозь самую гущу туда, к площади, где кажется нам, как будто меньше народу.

Но густая стена широких спин заслоняет нам путь. Крепкая стена, через которую нам не пробиться. Кто-то сдавил мне плечо до боли, кто-то нечаянно ударил локтем в грудь. И снова заколдованная стена обступила нас теснее и жарче со всех сторон. Дыхание сперлось в моей груди, капли пота выступили на лбу.

Похолодело в спине и в кончиках пальцев. «Нас задавят!» – мелькнуло в моей голове.

– Варя! – сдавленным шепотом бросила я моей спутнице.

Но ее уже не было около меня. Чьи-то чужие, потные, багровые от натуги лица окружали меня, чьи-то бестолково напирющие в общей давке спины сжимали все уже и уже кольцо.

Кто-то крикнул в паническом страхе:

– Батюшки, задавили!

И сразу я почувствовала, что мне нечем дышать. Сделала невероятное усилие, поднялась на цыпочки, потянулась. Но тут кто-то изо всех сил толкнул меня в спину, затем меня сдавила, как обручем, со всех сторон толпа. Мои ноги отделились от земли, и я повисла в воздухе, сдавленная со всех сторон. Холодный пот покатился у меня по лицу. Глаза заволакивало туманом.

«Сейчас упаду и меня раздавят, – последней мыслью пронеслось у меня в мозгу. – Сейчас погибну...»

Вдруг я увидела в десяти шагах знакомую маленькую головку на широких плечах, высившуюся над толпой, и, собрав последние силы, я прохрипела отчаянно:

– Большой Джон! Сюда!

* * *

Я очнулась вне города на зеленой лужайке в предместье.

Я лежала на траве поверх плаща, разостланного Большим Джоном. Варя и Левка суетились около меня. Большой Джон держал мою руку, смотрел на меня тревожными глазами и улыбался через силу.

– Ну вот, наконец-то вы отошли, – услышала я его милый голос. – Теперь, как отдохнете, можно идти отыскивать ваших.

– Меня чуть не задавили, не правда ли, Большой Джон? – прошептала я.

– Слава Богу, этого не случилось. Маленькая русалочка жива и здорова.

– Благодаря вашему вмешательству, – произнесла я, протягивая ему обе руки.

– Не моему участию, а участию Провидения, – поправил он меня с улыбкой. – Ведь если бы Богу не угодно было послать к вам навстречу такую высоченную каланчу, такого Дон-Кихота, как я, может быть, маленькая русалочка и захворала бы, помятая в этой ужасной давке.

– То есть умерла бы, Большой Джон, выражаясь точнее.

– А m-lle Варя! Вы слышали о m-lle Варе? – чтобы замять разговор, волновавший нас обоих, произнес Большой Джон, кивая в сторону моей подруги. – Она чувствует теперь себя прекрасно после своей горячей молитвы. Счастлив, кто может так чисто и свято верить в великую силу Божества. Только вы, русские, с вашими золотыми простодушными сердцами, умеете так верить и молиться. И как я за это уважаю вас всех! – закончил Большой Джон.

– А вы-то, Большой Джон, вы сами? – вырвалось из моей груди. – Надо быть самому очень религиозным и верующим, чтобы решиться плыть на край света и обращать на путь истины жалких диких людей. Или вы шутили тогда, когда говорили, что отправляетесь в Америку миссионером?

– Нет, маленькая русалочка, – произнес он серьезно, и его

жестребиные глаза приняли мечтательное, почти детское выражение. Я с малых лет грезил о том, чтобы принести сильную помощь тем, кто нуждается в этом. У меня создался свой собственный идеал, свой цикл желаний, и на первом месте – жгучая потребность видеть людей людьми, а не жалкими полудикими животными. А ведь там, в дебрях девственных лесов, они рыщут бессознательными зверьми, без религии, законов, без познания истины. Это бедные, жалкие, обиженные роком дети природы. К ним лежит мой путь. Сделать их людьми, посеять в их сердцах веру, светоч сознания; разбудить в них жажду знаний, хотя бы самых примитивных и небольших. Разве же это не счастье, маленькая русалочка?! Разве это не счастье?

– А если они убьют вас, Большой Джон?

– О, маленькая русалочка! Поэтичная, экзальтированная головка! Времена Майн Рида, Эмара и Купера прошли. Воинственных краснокожих, что так пленяют юношество, нет, и те жалкие дикари, последние отпрыски вымирающих племен, те, уверяю вас, смотрят на нас как на белых богов, светлых вестников мира.

– Ах, Большой Джон, если бы все это было так!

– Как бы то ни было, маленькая русалочка, но я должен осуществить мою мечту. Моя бродячая душа уже тоскует. О, Большой Джон – феноменальный бездельник, и никакое другое дело не улыбается ему! Через месяц, восьмого августа, мы уезжаем отсюда, я и Левка. Не правда ли, Левка: уди-

раем мы с тобой скоро из здешних прекрасных мест?

– Стало быть удираем, Иван Иванович! – с веселой готовностью сорвалось с уст Левки.

– Ну а теперь идем искать ваших, а то они, должно быть, измучились в ожидании. У вас хватит на это достаточно сил, маленькая русалочка? А то я приведу коляску.

– Нет! Нет, Большой Джон! Я могу идти.

И опираясь на его руку, в сопровождении Вари, словно пронизанной тихим счастьем, и Левки, мы отправились к зданию управы разыскивать своих.

Отъезд Большого Джона волнует меня. Я так привыкла к дружбе этого большого, сильного человека, к его братской привязанности ко мне, к его дружеским советам и беседам; одно представление о том, что скоро в маленьком Ш. не будет Большого Джона, наполняет меня тоской.

А колокола все еще заливают своими звуками маленький город, и смутно доносится до нас пение с площади, где освещают теперь лари торгашей.

* * *

В конце июля погода изменилась. С Ладоги подул северный ветер. Зашумело бурливое синее озеро, закипела холодная быстрая река. Белые барашки волн заиграли на поверхности. Холодный вихрь закружил над городом. Теперь целыми днями идут дожди. Старые сосны плачут под окнами. В

мокрые влажные туманы оделись прибрежные леса.

Дети вот уже две недели сидят в комнате. У Павлика кашель, у Саши тоже. Малютка Ниночка здорова, но выглядит вялой и хилой. У Эльзы флюс во всю щеку, но зато Варя... Что-то странное произошло с Варей. Резкий, протестующий характер Вари после происшествия в Казанскую изменился к лучшему. Что-то новое, легкое появилось во всем ее существе. Вместе с ее мучительной болезнью, казалось, исчезло в ней и то грубоватое, что подчас отталкивало от нее окружающих.

В лице Вари заметно новое выражение, и улыбка у нее другая, стала она женственнее, милее, лучше. И к Эльзе она стала относиться много лучше: трогательно лечит ее больные зубы, prepares полоскание от флюса, встает по ночам кипятить маленькой швейцарке ромашку и часто вслух мечтает о монастыре, о своем намерении под старость лет посвятить себя Богу.

– Ты веришь ли, – говорит она часто в минуты особенной откровенности, – ты веришь ли – в тот момент, когда проплыла над моей головой чудесная икона, я почувствовала точно толчок во всем существе и будто чья-то нежная-нежная рука коснулась моей головы, пылавшей от боли. И боль исчезла сразу, и чудная радость охватила все мое существо. Теперь я служу молебны, по сто поклонов кладу ежедневно, но этого мало, мало. Когда я не понадобится больше детям, то отдам себя всю, всю целиком, на служение Ей, Небесной

Царице. Как ты думаешь, хорошо это будет, Лида?

Что я могу ей ответить? Как далека я от тех светлых порывов, которыми полна душа Вари! Моя собственная душа – это какая-то буря, какое-то сплошное восстание наперекор судьбе. Я хожу все эти дни злая и негодующая и пишу такие же злые, негодующие стихи. Я злюсь на все: и на бурю, и на ветер, и на бунтующую реку, которая не подпускает меня теперь к себе, злюсь, что мне нельзя вскочить в лодку и уплыть далеко, нельзя выскочить под дождь и пронестись по лесу.

Ах, как тоскует по милой природе моя бунтующая душа! Но больше всего злюсь на Большого Джона, решившего уехать через несколько дней в Америку. Его затея мне кажется нелепой, почти смешной. Я эгоистка и не хочу терять друга из-за каких-то идей.

А дожди льют непрерывно. Ливнями размыло дорогу, и мыза «Конкордия», чуть приподнятая над окрестностями, теперь кажется островком.

* * *

Второе августа. Вечер. Всюду зажжены лампы. На улице темень, слякоть и дождь – непрерывный, монотонный. И издали доносится гомон бунтующей реки.

В нижнем этаже, у наших, гости. Играют в карты, рассказывают новости. Мама-Нэлли два раза присылала за мною, но я категорически отказалась сойти вниз, ссылаясь на го-

ловную боль. Терпеть не могу чинно сидеть в гостиной и изображать светскую барышню, говорить о погоде и о том, как не по дням, а по часам дорожает мясо и что беглую партию ссыльных водворили в тюрьму. Не люблю выслушивать похвалы моим стихам и прозе, которых никто не читал, но о которых мама-Нэлли рассказала здешним барышням и дамам, и о том, что я правлю лодкой и гребу, как рыбацкий мальчишка, тоже не люблю распространяться. Идти вниз и выслушивать сладенькие комплименты моей «особенности» – благодарю покорно. Уж лучше посидеть тут.

Как уютно и тепло в большой детской! За круглым столом расселись мы, девушки: Эльза, Варя и я с детворою. Варя дошивает воздух – пелену к иконе Казанской; Эльза рисует для Ниночки голову лошади, больше, впрочем, похожую на свиню; я забавляю мальчуганов.

Мой репертуар скоро иссякает сегодня. Я уже показала и «зайчика», «молящуюся монашенку» на тени, и обыграла их в шашки, и рассказала сказку про царевну Бурю, в один миг создавшуюся в моей голове, и снова заговорила о дикарях Америки, к которым направляются Большой Джон с Левкой.

– Это нехорошо, что он уезжает. Нехорошо, что оставляет отца, сестер и друзей. Где же тут братское чувство, привязанность, дружба? – говорю я с глухим раздражением против Джона.

– Он человек идеи. Его влечет задача сделать разумными существами людей-животных! – возражает Варя.

– Чепуха! Это высший эгоизм! – протестую я снова. – Просто он желает заставить о себе говорить весь мир!

И негодование к поступку Большого Джона заливает мою душу темной волной.

– Ах, вы не знаете его! – восклицает по-французски до сих пор молчавшая, маленькая Эльза. – Это такой человек, такой... – И она смолкает внезапно.

– Если он «такой», так и сидел бы дома. Всем нам он здесь нужнее, нежели каким-то дикарям Миссионер-проповедник в двадцать четыре года! Смех! Просто не может спокойно усидеть на месте, бродячая, кочевая душа.

Я действительно злюсь и негодую. Еще бы, весь маленький Ш. привык к доброму волшебнику, между тем он нас покидает. А сама? Я не могу себе представить, что не придется делиться моими радостями и невзгодами с Большим Джоном, моим другом, таким мудрым и духовно красивым, с такой детски-чистой, огромной душой. А темная, злая сила все шире и шире разрастается в моей груди.

* * *

– «Царица» утонула в Ладоге! Пошла ко дну! Маленькая лодочка с людьми, как щепка, носится по реке. Ее выкинуло в Неву. Народ собрался у фабричной пристани. Лодка борется как раз близ нее.

Даша, только что сообщившая нам эту новость, отчаянно

жестикуюлирует, остановившись на пороге детской.

– «Царица»? Большой мачтовый пароход? Пошел ко дну? Не может быть! – вырывается у нас.

– Ну да. Слышали, с маяка были сигналы? Выстрелы были весь вечер. Команда и пассажиры успели вскочить в лодку. Мечутся сейчас по Неве. Крушение произошло чуть ли не у самого устья. Вся фабрика на берегу. Говорят, лодку приближает к пристани, да водоворот здесь в порогах тормозит дело.

Даша задыхается, спеша передать новость. Дети волнуются. Варя и Эльза бледнеют.

– Там люди гибнут! Это ужасно! – срывается с уст Вари, и она тихонько шепчет молитву.

– Вы говорите, против фабрики, Даша? Но у них же есть катер? – срывается у меня.

– Ну да. Катер есть. Но охотников на верную смерть мало. Волны что в море, агромадные. Совсем разгулялась наша Нева. Директорский сын вызывает охотников плыть за лодкой, да никто не решается пока.

– Что?! Большой Джон?

– Сейчас сторож Федот оттуда. Говорит, молодой барин фабричных подговаривает снаряжать катер. А если, говорит, вы не согласны, я один поеду на своей душегубке и по два человека всех перевезу на берег, – продолжает рассказывать Даша.

– Он это говорил?! Большой Джон?! – Мое сердце колотится. – Большой Джон сам плывет спасать погибающих на

своей лодке? Вы это знаете наверняка, Даша? Да?

Но что-то внутри меня отвечает за девушку:

«Большой Джон не был бы Большим Джоном, если бы он этого не сделал. Какой здесь может быть иной ответ?»

Острая до боли, ясно представляется потрясающая картина. Маленькая, хрупкая, как скорлупа, лодчонка и в ней высокий человек среди бурно закипающих седых валов.

Нет! Нет! Этого нельзя допустить! Невозможно! Его надо отговорить во что бы то ни стало. О, Большой Джон!

Что-то закипает во мне. Что-то повелевает помимо моей воли мною.

– Плащ, калоши и зонтик! Даша, вы пойдете со мною! – кричу я и, в одном платье минуя лестницу, прыгая через три ступени, выскакиваю на крыльцо.

* * *

Не знаю, чьи руки накинута на меня резиновый плащ с капюшоном, кто развернул зонтик над моей головой, кто сунул под мои ноги низенькие калоши, кто светил мне маленьким ручным фонарем и чей голос шептал мне испуганно:

– Вернитесь, барышня, вернитесь! Как бы барин с барыней не осерчали!

Ах, разве я могла вернуться, когда там, впереди, собрался идти на верную гибель мой большой друг?

Дождь хлещет теперь с удвоенной силой. Большим и ши-

роким ручьем кажется дорога к предместью. Мои ноги и ноги моей спутницы тяжело хлопают по воде. Жалобнее скрипят стволами деревья по краям дороги. В черные тучи прячется небо.

Мы бежим так быстро, как только хватает силы.

Надо поспеть туда, к фабрике, на пристань. Надо не допустить этого безумия. Надо удержать во что бы то ни стало Большого Джона!

И я прибавляю шаг.

Вот и белые стены фабрики. Вот и черная, мокрая, скользкая пристань. И огромная толпа на берегу и на пристани.

Что такое?!

Люди кричат, размахивая руками, указывая по направлению бушующей речной стихии. Но их голоса покрывает страшный вой реки, грозящей выступить из берегов и затопить город.

– Где господин Вильканг? Где господин Вильканг? Где молодой барин? – кричу я ближайшей группе фабричных, напрягая все силы своего голоса.

Меня не слышат, не отвечают, продолжая галдеть свое, указывая на реку, размахивая руками.

– Там барин Вильканг. Там.

– О! Опоздали! Мы опоздали! Он уже уплыл на своей душегубке!

На реке темно, как в могиле, и только седые волны белеют остро во тьме. Тот же вой. И изредка человеческие крики,

доносящиеся призывно с середины реки.

Я сажусь на мокрый камень и слушаю, как во сне, отрывки людских разговоров.

– Ни за что не хотел слушать. Уговаривали – куда тут. Вскочил в свою душегубку. Эх, Иван Иванович! Молод – зелен, душа терпеть не умеет. Пропадать тебе, видно. Ни за грош пропадать.

Кому пропадать? Зачем? Ах да, Большой Джон. На реке. О нем говорят эти люди. Зачем, зачем мы не отговорили его, зачем пришли так поздно?!

* * *

Кто это рыдает около меня? Кто стоит подле так близко? Это Алиса Вильканг и Елена – две гордые девушки, всегда несколько пренебрежительно относившиеся ко мне. Зачем они плачут? Или уже поздно и то страшное, роковое уже свершилось с их братом? Ужас! Ужас!

Всегда гладенько причесанные, корректные и тихо-спокойные, «невозмутимые альбионки», как я их мысленно окрестила, теперь они так доступны, понятны моей душе с их человеческим страданием, с их отчаянием и любовью к старшему брату.

– О Джон! Джон! Безумный, несчастный, милый! – рыдают они.

Их отец, вместе с толстеньким Беном и длинным Джор-

жем, мечутся по берегу, умоляя фабричных снарядить катер.

Директор, обычно важный и недосыгаемо-величавый, теперь жалок и несчастен, как и его дочери. Это печальный, убитый горем отец, изнывающий от страха за жизнь сына.

– Верните его! Верните! – срывается с уст этого высокого, седого старика, похожего на старинного лорда.

Но фабричные нерешительно мнутя на месте. Снарядить катер, чтобы погибнуть в бушующих волнах?! У каждого дома семья, дети. Нельзя жертвовать жизнью. Это безумие. Нельзя.

Вдруг заколыхалась огромная толпа, и из нее выступает Наумский с частью своей команды.

– Барин! Ваше высокородие, не сумлевайтесь! – говорит он хриплым басом. – Мы на катере поплывем, вели готовить катер. Он, Иван Иванович то есть, многих из нас человеками сделал, на фабрику определил, помог многим. Так ужели же не помочь ему, родимому, дать погибнуть? Да что мы, звери либо люди? Готовьтесь, братцы! Кто за мною? Либо на жизнь, либо на смерть!

– Я, дядя Наумский!

– Я за тобою!

– Терять нечего, возьмите и меня!

И вот тонкий, еще детский голос покрывает все остальные.

– А меня, староста, что же забыл?

Это Левка, Бог весть где пропадавший весь вечер и по-

завившийся на берегу только сейчас.

– Ладно, паря, коли так, послужи своему благодетелю тоже.

И толпа ссыльных бросается к реке. Минута, две – и уже все суетятся у катера, стараясь подвести его к пристани. Уже катер прыгает на волнах. Младшие сестры Джона бегают с распущенными мокрыми волосами и кричат, и плачут, простирая руки к Неве.

– Джон! Джон! Милый!

Внезапно отчаянный вопль повис над рекою.

Голос Большого Джона. Его вопль. И чей-то ответный стон с берега. Крик, полный ужаса, отчаяния и горя.

– Поздно! Душегубка перевернулась! Поздно теперь...

* * *

Люди не метались и не кричали больше. Во тьме не видно было реки. Но чувствовалось, что свершилось что-то непоправимое, страшное, от чего пахнуло смертью. Гибель пронеслась в мокром воздухе. Чья-то смерть пролетела над головами толпы.

Гребцы на катере работали иступленно. Люди выбивались из сил, спеша к человеку, который бился, погибая в борьбе с рекой.

Окаменев, я сижу на камне. Я ничего не вижу кругом. На моих коленях чья-то мокрая от дождя голова.

Это Молли – подруга сестер Большого Джона, друг детства молодого Вильканга. Почему так рыдает она, эта надменная девушка, горделиво резавшая меня еще так недавно? Она пришла сюда разделить свое горе с моим?

Да полно, горе ли? Быть не может, чтобы он погиб, такой светлый, ликующий, мудрый и честный!

А цепенеющее ожидание все длится, длится. Глуше ропщет река в сером рассвете. Постепенно расплывается черная муть ночи. В сером тумане возвращается катер. Что-то тяжелое и большое распростерто по середине его.

Невод! Зачем невод?

Я подхожу к борту пристани в ту самую минуту, когда толпа людей, подняв то большое и черное, что запутано в сети, раскачивает его за два конца.

– Большой Джон! – кричу я.

На мгновенье я вижу сквозь мокрую сеть бледное неподвижное лицо со стеклянными, широко раскрытыми глазами и раскрытый рот в неподвижной мертвой улыбке. Это все, что осталось от моего друга, еще несколько часов тому назад живого, доброго и веселого!

– Большой Джон! Большой Джон! – повторяю я тихо, стоном, и почва медленно выскользывает из-под моих ног.

Чей-то крик, похожий на стон бури, чье-то рыдание, потрясающее толпу. Затем склоненные надо мною, озабоченные лица «Солнышка» и мамы-Нэлли, – это является последним проблеском в моей помутившейся голове.

Я без слез и жалоб даю увести себя, доставить домой и уложить в постель. Я дрожу с головы до ног, но мне не холодно. Что-то безгранично тяжелое придавило душу.

«Опоздала! Опоздала! Не успела отговорить!»

Эльза рыдает в своей постели. Она не верит, что Большой Джон погиб. Но он погиб – это несомненно. Душегубка опрокинулась в ту минуту, когда катер благополучно доставил к противоположному берегу Невы спасшихся пловцов. Душегубка же перевернулась, и Большой Джон пошел ко дну. Течением не отнесло его к порогам, так как Наумский успел забросить захваченную в катере рыболовную сеть. И в ней его доставили на берег, уже без признаков жизни.

И не стало на земле прекрасного Большого Джона.

Бедный друг! Как могла я считать тебя беспечным и веселым кочевником, цыганской бродячей натурой, – тебя, отдавшего жизнь за других! Как могла я не понять тебя, самоотверженного, погибшего во славу любви к ближним!

Раскаяние гложет меня. Я страдаю без слез той мукой, которой ничто не может помочь.

* * *

Буря умолкла. Стихия, проглотившая жертву, затихла, точно удовлетворенная ею.

После катастрофы водворился штиль на реке и озере. Снова улыбнулось солнце, снова засверкали голубые небеса,

снова засияло лето, и красивый царственный август сулил, по-видимому, теплые дни.

Большой Джон лежал в гробу, в маленькой часовне, среди умирающих лилий и тубероз.

Обезумевшие от горя отец и сестры решили везти его тело в Петербург, где на англиканском кладбище был фамильный склеп семьи Вильканг.

* * *

Эльза ездила на похороны. Мои родители были там тоже. А я не могла. Большой Джон, прости меня за то, что, желая запечатлеть твой образ таким, каким он был для меня, не хочу разрушить его обаяния новым впечатлением, которое получится от мертвого Джона. Прости, дорогой брат и товарищ! Я вечно помнить тебя таким, каким я тебя знала: добрым, мудрым, веселым, исполненным радости и жажды жизни.

* * *

Золотое солнце горит над маленьким городом. Чирикают птицы, предчувствуя скорое прощание с летом. Синеют сосновые леса, и ропщет огромная, как море, Ладога.

Я и Левка идем на кладбищенскую гору и молчим. Мол-

чим и думаем, каждый порознь, о Большом Джоне.

– Он любил на фабрике собственноручно пускать в ход машину, – неожиданно срывается у Левки, похудевшего до неузнаваемости со дня гибели Большого Джона.

– Он хотел отдать свой труд, свой мозг, свое сердце людям там, далеко-далеко, и отдал здесь за других самую жизнь! – говорю я.

Левка валится на песок и рыдает. Я вижу, как сотрясается тело мальчика, как вздрагивают его широкие плечи.

Счастливец Левка, он может плакать. А вот моя душа замерла от горя, и цепенеет сердце – и нет слез в моем угнетенном печалью существе.

Приходить на кладбищенскую гору и вслух думать о Джоне – для нас с Левкой потребность. Однажды Левка явился сюда и начал прямо, без обиняков:

– Барышня Алиса вернулась из Питера, позвала к себе и сказала: «Оставайся у нас, Левка; тебя покойный Джон как брата берег, и мы беречь будем», обняла и заплакала. Остаться? Ты что думаешь?

– Остаься. Она сдержит слово. Тебе будет хорошо, – говорю я после минутного раздумья.

Вечером отправляюсь к семье Вильканг. В первый раз после того жуткого, что так жестоко ворвалось в нашу жизнь, я подхожу к белой фабрике, и сердце мое рвется от тоски. Как тихо и печально у них в доме! Шесть бледных девушек в черных платьях молча встречают меня и жмут мою руку у

порога дома. Какая скорбь в их глазах. Сколько тоски в вымученных улыбках. Сидим и молчим, глядя через открытые окна в сад.

– У нас есть что-то передать вам, – говорит старшая, Елена, выходит на минуту из комнаты и приносит небольшой, оббитый крепом по рамке портрет.

Как живо глядит на меня бодрое, жизнерадостное и светло улыбающееся лицо Большого Джона! Его ястребиные глаза, его крошечная голова на широких плечах атлета.

Алиса, тихо плача, говорит:

– Мы знали, что вам это будет приятно, и пересняли с его фотографии для вас.

О, милые девушки, спасибо! И я могла когда-то вас презирать!

Слезы мгновенно обжигают мне грудь, глаза и горло – желанные слезы. Наконец-то вы пришли. Мы рыдаем все вместе, как близкие, как сестры, и разделенное горе смягчит печаль.

Уходя, я благодарю за Левку.

– Как вы добры! – шепчу я, пожимая холодные пальцы девушки.

– Наш Джон желает этого, я слышу его волю, – отвечает она с подкупающей простотой.

* * *

Серые дни. Я брожу по лесу, катаюсь по реке в лодке и ловлю первые признаки увядания природы. Листья падают и кружатся по ветру. Скупее ласкают землю солнечные лучи. Осень вступает на землю.

Сентябрь в этом году сух и холоден. В длинные вечера «Солнышко» собирает нас вокруг круглого стола в гостиной и, под аккомпанемент ветра, читает «Мертвые души». Но гениальный юмор Гоголя теперь меня мало трогает. Большого Джона нет с нами. Большой Джон в могиле. Все та же мысль, все та же.

Я не могу, не в состоянии его забыть. Его высокая фигура с маленькою головою, с улыбающимся, всегда жизнерадостным лицом постоянно стоит перед моим взором. Я точно вижу его, и мне не верится, что никогда, никогда нам не суждено больше услышать из его уст милые слова:

– Что, маленькая русалочка, опять взгрустнули?

* * *

Через неделю мы переезжаем с мызы в самый Ш., на городскую квартиру. Начнется зима, тоскливая в пустынном городке, где нет ни библиотек, ни театров, где сообщение со

станцией производится на лошадях: шестьдесят верст лесом на взмыленной тройке. И река замерзнет, и занесет снегом окрестные леса.

Я вижу по лицам окружающих, что и им зимнее время не сулит особых радостей. Все ходят мрачные, озабоченные и точно чего-то ждут.

Мама-Нэлли и «Солнышко» часто шепчутся о чем-то и поглядывают на меня тревожными глазами. А иногда их губы улыбаются с робкой надеждой и точно желают что-то важное и значительное сообщить мне. Безусловно, здесь кроется какая-то тайна.

Я ломаю голову – какая это тайна, спрашиваю «Солнышко», маму, – но в ответ получаю лишь улыбки.

* * *

Так вот оно что! Вот что скрывалось от меня так долго и усердно, что ожидалось моими родными с такой радостью и надеждой!

«Солнышко» получает назначение в Царское Село, в мое милое Царское, где подрастала когда-то я, – я, маленькая принцесса из Белого дома.

Мое дорогое Царское. Моя родина! Мой любимый, желанный город. Возможно ли, что я снова поселюсь под тенью твоих роскошных парков, среди чудесных озер, каналов, водопадов, беседок и мостиков, от которых веет глубокой ста-

риной?

Воспоминания детства. Воскресшая сказка. Радужные сны маленькой принцессы. Я переживу вас снова?! Я, уже семнадцатилетняя девушка, я возвращаюсь к вам.

Через две недели мы переезжаем. Самое большое через месяц я увижу знакомые родные места. Какое счастье!

И впервые со дня смерти Большого Джона глаза мои загораются снова и слабая улыбка появляется на лице.

Часть вторая

Мы в Царском Селе с первым ноябрьским снегом. Белый и пушистый город встречает нас.

В сопровождении Эльзы бросаюсь я в парки.

На каждом шагу – воспоминания. Стройные аллеи убегают вглубь парков. По ним я бегу час, другой, третий; мое сердце стучит, Эльза едва поспевает за мною.

Вот небольшое прозрачное озеро. Оно уже покрылось легкой ледяной корой. Летом здесь плавают гордые белые лебеди, которых я так часто кормила в детстве. А вот и «Голландия» с ее сторожем-матросом, разгуливающим у входа. Тот ли это старый знакомый, у которого «Солнышко» часто брал лодки, чтобы катать по озеру свою маленькую принцессу, или новый, другой?

– Скорее! Скорее к Белому дому, Эльза! Извозчик, на дачу Малиновского! – кричу я, подзывая возницу.

Мы садимся и едем.

Маленькая Эльза молчит, сердцем угадывая, что должна я переживать, возвращаясь на старое пепелище. По краям шоссе тянутся казармы, дома, казенные строения.

– Вот, наконец-то! Стойте, извозчик! – Я бегу по знакомой дороге.

Вот Белый дом, где живут офицерские семьи стрелков, среди которых я веселилась в детстве. Вот домик-флигель,

где жили мои друзья – Леля, Анята, Боба и Коля. А вот и...

Мое сердце замирает. Передо мною «наш» дом с палисадником. «Мой» дом и «мой» милый пруд, «моя» рощица, «гигантки». Все, все по-старому, только все это сейчас кажется мне таким маленьким. Или это лишь потому, что сама я выросла за эти годы?

В «моем» доме живут чужие. У окна сидит какой-то седой дедушка с книгой. По саду бегают детишки.

Я бросаюсь к пруду и, став под защиту старой корявой ивы, на которую часто влезала в детстве, прячась в ее пушистых ветвях, теперь белых от снега, смотрю на дом. И кажется мне, что вот-вот высунется в форточку милое лицо тети Лизы, одной из четырех «моих фей», и знакомый голос крикнет: «Иди домой. Холодно, Лидюша...»

Воспоминания охватывают меня. Я снова маленькая Лидюша, воображающая себя принцессой, обожаемая отцом и четырьмя воспитательницами, сестрами моей матери. То радостные, то печальные картины проплывают в моей голове.

Я стою под старой ивой до тех пор, пока не коченеют ноги и плаксивый голос Эльзы не будит меня:

– Allons, allons, m-le Lydie.

И я просыпаюсь.

«Мой» дом – уже не мой больше. Четыре добрые феи-тети за эти семь лет сошли, одна за другой, в могилу и лежат закрытые на кладбище, глубоко в земле. И маленькой принцессы из Белого дома не существует больше. Есть молодая осо-

ба Лида Воронская, уже столкнувшаяся с первыми жестокими утратами.

Идем же домой, идем, Эльза.

* * *

Наша жизнь очень изменилась со дня переезда из Ш. Там мы жили тихо, скромно; здесь же, в Царском, положение отца требует вести жизнь более открытую. «Солнышко» и мама-Нэлли заводят знакомых из важных, аристократических жителей Царского Села. На конюшне у нас лошади, в сарае экипажи. С лошадьми живет старый бородатый козел Сенька, предмет ужаса всего женского населения дома; особенно боятся его Эльза и Даша. И когда кучер Иван выпускает Сеньку прогуляться по двору, Эльза, взвизгивая, бежит в дом:

– Ah, ce monstre! Il est là! Il est là!

Казенный дом, где мы поселились, омеблирован нарядно, почти роскошно. Перед окнами залы – небольшой пруд и водопад, бьющийся о мокрые камни. На кухне готовит повар, заменивший кухарку. В комнатах – высокий выездной лакей Михаила, бесшумно шаркая подошвами, скользит по пушистым коврам.

Моя комната выходит на улицу, и это грустно. Я не вижу природы из окна.

Мама-Нэлли постоянно о чем-то таинственно совещается

с портнихой. Я предчувствую неотвратимую беду: придется «выезжать в свет». О, что может быть хуже этого несчастья?! Нарядные тесные платья, неумолкаемая французская трескотня, манеры «кисейной барышни» и почтительные, строго выдержанные разговоры в обществе. О, какая это скука! Слава Богу, что наши выездные костюмы еще не готовы.

Целые дни я с детьми, Варей и Эльзой провожу в парке, а вечером пишу стихи и наброски. Здесь, на моей родине, под наплывом острых воспоминаний, они льются из души свободно и легко. И каждую ночь, ложась в постель с затуманенной образами головою, я говорю сама себе:

– Что-то случится завтра? Неужели нельзя будет работать как нынче, как вчера? И злосчастная портниха принесет их наконец, эти ужасные наряды? И неужели же завтра меня повезут, как узницу, напоказ светской толпе?

* * *

О злосчастный день! Он наступил-таки.

– Завтра мы едем с визитами, Лидия, – сказала мне мама-Нэлли накануне.

Полночи я не спала, а вторую половину грезилась какими-то кошмарными снами, в которых «визиты» являлись гномами и колотили меня молоточками.

Утром, едва успев умыться и причесаться, я бросилась к своему письменному столу и начертала на листе почтовой

бумаги дрожащей от волнения рукой:

Я готова Пифагора
И Евклида вновь зубрить,
Реки всего света, горы
Вновь готова повторить.

Все я выучу усердно,
Если будем после квиты...
Мама! Будьте милосердны
И избавьте от визитов.

Вкладываю стихи в конверт, надписываю адрес и звоню Даше.

– Вот, милая, снесите маме.

А сама замираю от ожидания. Авось стихи возымеют свое действие?

Минуты идут, а Даша не возвращается с ответом.

Наконец-то легкие шаги.

Ах, это сама мама-Нэлли. Ее серые глаза улыбаются.

– Увы, Лидия! – говорит она. – Увы! Ехать с визитами мы должны, моя девочка, все-таки, хотя стихи твои очень милы, и я их спрячу на память.

Все пропало!

Широкие сани с медвежьей полостью, с огромным Михайлой на запятках, уносят нас по молодой еще снежной дороге к лучшим кварталам города. На мне и маме-Нэлли нарядные ротонды с пушистым мехом и красивые «выездные» шляпы. Под моей шубой из меха тибетской козы – ловко сшитое сизое платье, отделанное белым сукном. Красивое платье. Но мне не нравится этот слишком модный покрой. Если бы это зависело от меня, я бы носила греческие туники, свободные, легкие, не стесняющие движений, или римские тоги...

Наш первый визит – к баронессе Фрунк, жене начальника города.

Сани останавливаются у роскошного подъезда. В большом вестибюле два лакея бережно разоблачают нас. В высоком трюмо отражается моя тонкая, высокая фигура, сизое с белым, нелепое, как мне кажется, платье и кудрявая голова с мальчишеским лицом.

Пожилая дама встречает нас посреди гостиной.

– *Toujours belle et posee!* – любезно обращается баронесса Фрунк к маме-Нэлли. Потом, слегка сжимая мою руку и повернувшись к лакею, приказывает кратко:

– Попросите сюда молодую баронессу.

Где-то лает собака. Затем раздаются легкие шаги по коврам и тонкий шелест шелковых юбок.

– Вот познакомьтесь. Вы сверстницы и, конечно, подружитесь, – произносит пожилая дама.

Баронесса Татя красива той картинной красотой, которую так любили изображать художники на старинных гравюрах. Вся она прямая, как стрелка, свежая и розовая.

С нею входит старая англичанка. Татя крепко жмет мою руку и низко приседает перед мамой-Нэлли.

Батюшки мои! А я-то и не «окунулась» перед ее матерью! Какое непростительное упущение!

– Вы учились в институте? – чинно осведомляется Татя, сложив на коленях нежные ручки с тонко отполированными ногтями. – У вас было там много подруг?

Юная баронесса Татя так корректна, так уверена в себе, так спокойна, что мне захотелось вдруг заставить на миг взглянуть из этой светской скорлупки настоящую живую Татю, какая она есть на самом деле, «всамоделешняя», как у нас говорилось в институте. Что, если ответить на ее вопрос «по-своему», например: «Да, подруг у меня была целая куча» или что-нибудь в этом роде?

Ого! Было бы на что полюбоваться! Я мысленно раздражаюсь смехом, и необузданная шаловливость овладевает мною.

Но глаза мамы-Нэлли останавливаются на моем лице, и, сдержав себя через силу, я «замираю».

– Здесь очень весело проводят время, – говорит Татя. – В стрелковых частях устраиваются танцевальные вечера, на большом озере заливают каток. Мои братья-правоведы бу-

дут скатывать нас с гор на санках. Очень интересно. В особенности вечера.

О ужас! Вечера! Мне предстоят еще и вечера. Чинное кружение под музыку и не менее чинные разговоры о погоде и театре. Все их променяю на катанье по реке в лодке или на беганье в лесу на лыжах. Зато каток приходится мне по вкусу.

– На катке у нас самое избранное общество. Туда пускают исключительно по рекомендации, – говорит Татя.

Вот тебе раз! А я-то мечтала бегать взапуски с братишкой на беговых коньках.

По дороге к другим знакомым мама-Нэлли осведомляется у меня:

– Ну, как тебе понравилась молодая баронесса?

– Она прелестна, – говорю я. – Но увы, мамочка, мы с нею никогда не сойдемся.

– Это очень грустно.

В самом ли деле грустно? Не знаю.

* * *

У генерала Петрова три дочери. Они щебечут, перебивая одна другую.

Барышни тормозят меня, расспрашивая об институте, о жизни в Ш., ужасаются пустяками, восторгаются пустяками. От их птичьих голосов и восторженного настроения в голо-

ве получается какой-то винегрет. И притом все трое «с талантами»: старшая, Нина, рисует; средняя, Зина, «артистически» играет на рояле; и младшая, Римма, поет.

Нина тотчас же приносит нам свои рисунки, толстейший альбом с набросками. Зина садится за рояль и меланхолично играет баркаролу Чайковского, а Римма поет очень мило своим птичьим голосом.

Когда музыка и пение прекращаются, девицы снова окружают меня.

– Ведь хорошо? Вам нравится? Скажите!

– Прекрасно! – говорю я серьезно и прибавляю с грустью: – Как жаль, что у вас нет еще четвертой сестры.

– Но почему? Почему? – так и всколыхнулись девицы.

– О, она, наверное станцевала бы нам что-нибудь, – говорю я простодушно и ловлю в тот же миг предостерегающий взгляд мамы-Нэлли.

Слава Богу, барышни не поняли моей мысли. С тем же птичьим щебетом они провожают нас в переднюю.

– До свиданья! До свиданья! До свиданья! – поют они хором. – Скоро мы увидимся на катке! Скоро!

У меня разболелась голова во время этого визита, и я рада-радешенька вырваться на воздух. А еще сколько впечатлений впереди. Страшно!



В огромном доме предводителя тоже три барышни. Сама хозяйка, мадам Раздольцева, знала меня ребенком.

Младшая, Дина или Надюша, приводит меня положительно в восторг. Она непосредственна, игрива и смела, шаловлива и дерзка подчас. Совсем в моем вкусе. Тонким юмором звучат резкие речи этой миловидной пятнадцатилетней девчулки. Старшие сестры то и дело останавливают ее.

– У Петровых были? – лукаво прищуривая один глаз, осведомляется она и вдруг начинает пищать голосом младшей из трех сестричек.

– Ах, Петербург! Ах, институт! Ах, каток! Чудесно, прелестно, сладко, как мармеладка!

И хохочет. Потом вскакивает и козликом перебегает комнату. Как жаль, что она моложе меня и состоит еще на положении подростка. Вот с нею-то мы бы уже наверное сошлись.

Нравится мне и дочь сановника Ягуби, Маша, веселая, жизнерадостная девушка со вздернутым носом и густой русой косой. Она любит природу, простодушна. Заразительно смеется, показывая то и дело ослепительные зубы, и бредит троечной ездой.

– Сама бы правила тройкой, если бы можно было, да вот беда – мама боится, – признается она мне.

От Ягуби мы едем к Медведеву. Он вдовец – сенатор, жи-

вущий на покое. У него четверо детей: одна из дочерей смуглая, черноглазая Ларя, молчаливая, задумчивая; вторая – белокурая, кокетливая Соня и третья – маленькая Шура, которая еще учится в гимназии. Старший сын кончает правоведение. Это умный юноша, очень остроумный и подчас злой на язык. Его зовут Вольдемаром.

Больше всех мне нравятся Ларя и Вольдемар. Первая – своей поэтичностью, второй – забавным юмором. Сестры обожают брата, все трое.

Во время этого визита я устаю от массы впечатлений до того, что путаю имена и начинаю говорить явную чепуху, к ужасу мамы-Нэлли. По дороге оттуда она подбодряет меня.

– Еще один дом, и все кончено, – говорит она и тут же прибавляет не без лукавства: – Но этим визитом, я надеюсь, ты не останешься недовольна.

Сани берут влево, выезжают на шоссе. Подкатываем к Белому дому. Высаживаемся, входим. Я опомнилась лишь тогда, когда чьи-то нежные руки обвили мою шею, а ласковый голос зашептал у моего уха:

– Боже мой, Лидочка, как выросла! Изменилась!

Вне себя от радости, я обнимаю Марию Александровну Рогодскую, знавшую меня еще ребенком, и замираю на мгновение в этом теплом родственном объятии.

– Девочка моя милая, – говорит она ласково.

Мы держимся за руки, смотрим в глаза друг другу и молчим. И рой воспоминаний витает между нами. Она вспоми-

нает свою молодость, я – свое детство. И сладки, и длительны эти хорошие, светлые минуты.

– Бедные тети ваши, деточка, как рано они покинули вас, – говорит она и прибавляет: – А моя Наташа уже учится в институте.

Затем говорим о старых знакомых – сослуживцах и знакомых моего отца. Не осталось почти никого. Сами Рогодские переводятся с новым «повышением» в другую стрелковую часть, здесь же, в Царском Селе.

– Мы часто будем видеться, не правда ли? – обращается ко мне Марья Александровна и, целуясь с мамой-Нэлли при прощании, прибавляет:

– Вы будете, надеюсь, отпускать вашу девочку ко мне? У нас с нею столько старых воспоминаний.

Я бросаюсь к ней на шею.

Потом, полуживая, выхожу на подъезд, окидываю глазами знакомый двор милой Малиновской дачи и сажусь при помощи Михайлы в сани.

Медвежья полость запахнута. Лошади трогают с места.

* * *

Погожий зимний денек. Точно январь на дворе, а между тем только середина ноября. Сверкает солнце, сияет снег, сиенет плотный лед на царкосельских озерах и канавах. Такой ранней зимы не помнит никто. А деревья разубранные, как

невесты, под белой фатой, и хочется броситься к ним, обвить их стволы руками и глядеть, без конца глядеть на жемчужные уборы их прихотливых сверкающих вершин.

Я, Эльза и Павлик идем на каток, позвякивая коньками. Эльза не умеет кататься, смущенно смеется и заранее трусит. Павлик всю дорогу трунит над нею. Потом с важностью снисходит:

– Eh bien, я вас выучу кататься.

И при этом какое очаровательное, гордое выражение. Какая прелесть это синеокое личико, разруганное морозцем.

Мы идем, громко болтая. Совсем провинциалы.

А на катке уже гремит музыка, носятся пары и веселье кипит вовсю. В толпе нескольких военных и статских я замечаю мисс Грай, Татину англичанку, белого шпица Гати, ее братьев-правоведов и целое общество молодежи – кавалеров и барышень.

Надюша Раздольцева машет нам издали обеими руками:

– Надевайте скорее коньки и присоединяйтесь к нам. У нас превесело.

Потом неожиданно подхватывает злого шпица Мутона, Татину собственность, и катится на коньках с ним вместе, отчаянно размахивая свободной рукой. Совсем мальчишка.

– Оставьте Мутона в покое. За что вы его так мучите? – говорит Татя.

Быстро сбрасываю в теплой кабинке ботики и туфли и даю

сторожу зашнуровать высокие сапоги с коньками. И несусь по зеркальной поверхности пруда в самую середину толпы.

Там уже баронесса Татя, в темно-синем костюме с белой горностаевой опушкой, с такой же муфтой и шапочкой на пышных пепельных волосах, и ее старший брат Олег, переделанный в Лелю, высокий красивый мальчик лет восемнадцати. У него лицо поэта и добрые, грустные глаза. Здесь же маленький Коко, очаровательный в своей зеленой курточке малолетнего правоведа. Он знакомится с подоспевшим сюда за мною Павликом, и, взявшись за руки, они важно несутся по льду, оба гордые, маленькие, хорошенькие и смешные.

Сестрички Петровы, Нина, Зина и Римма, встречают меня обычной птичьей трескотней:

– Как вы прекрасно бегаєте на коньках.

– А нам нельзя. Мы не умеем.

– Папочка запрещает.

– Папочка боится за нас.

– За мой голос, – важно вставляет Римма.

– Катанье – бесполезное, даже вредное занятие, – лепечет

Зина.

– Можно простудиться и заболеть, – отзывается Нина.

– И умереть, – басом вставляет Вольдемар, брат Медведевых, Лари и Сони, которые тоже присутствуют на катке.

Все смеются.

Сестрички хмурятся, не зная, обидеться ли им или захотать.

– А зачем же вы на лед пришли? – снова подхватывает Вольдемар и неожиданно запеваёт молодым баритоном цыганский романс: – «Не ходи ты на лед, там провалишься».

– Вы злой! – сердито тянет Римма и надувает губки.

– Караул! – взвизгивает Надюша Раздольцева. – Караул! Спасите! Помогите! Караул!

– Что такое?! Зашибли ногу? Да говорите же! – окружая ее, волнуется молодежь.

– Не то, не то! Вон моя «мучительница», глядите! – И мальчишеским жестом Надюша тычет пальцем по направлению к береговой аллее.

Высокая фигура медленно двигается там, направляясь к катку. «Мучительница» оказывается Надиной гувернанткой. Это почтенная особа из Саксонии, знающая бесподобно почти все европейские языки.

– И коровий даже, – таинственно присовокупляет Дина. – Потому что, когда она сердится, то мычит.

Гувернантка появляется на льду, приближается к нам и, величественно кивнув нам всем, говорит Наде по-английски:

– Вы сегодня наказаны и должны часом раньше идти с катка.

– Наказана! Фю-фю-фю! Вот тебе раз! – протяжно свистит Вольдемар Медведев. – Ай да m-lle Дина!

– Allons! – решительно переходит на французский язык немка и хватает Надюшу за руку.

– Один только тур! – молит шалуныя.

И не успела почтенная дама ей ответить, как Надя уже мчится стрелою по сине-хрустальному кругу катка. За первым туром идет второй, за вторым третий.

За Диной несется Мутон с оглушительным лаем, норовя схватить шалуныю за платье.

– Дети мои, догоняйте меня! – кричит девочка, и зубы ее и глаза сверкают.

Почтенная немка волнуется, краснеет от досады, идет навстречу Дине, растопыривая руки.

Но быстрая девочка проскальзывает у нее под самыми локтями и преспокойно обегает озеро чуть ли не в десятый раз.

– Помогите мне! – молит наконец, обращаясь к нам всем, саксонка.

– С условием. За плату, – басит Вольдемар.

– Wie so! – срывается у немки на ее родном языке.

– Очень просто. Мы вам словим беглянку и потребуем за это награды. Только и всего.

– Gut! Gut! – кивает она головой, выставляя вперед желтые зубы, и прибавляет уже по-русски: – Наде надо домой, она наказана: на книжке перевода нарисовала такое ушасное шерное чудовище.

– Это ужасно! – говорит Вольдемар, и непонятно, смеется он или же серьезно это говорит.

Затем, пригласив нас ловить Надюшу, легко несется за де-

вочкой на коньках.

Через минуту шалунья уже стоит перед гувернанткой.

– Фууй, фууй! – цедит та. – И не стыдно вам? Идем, – неожиданно прибавляет она, хватая за руку девочку.

– Как идем?! А награда? – вступается Вольдемар. – Мы вам помогли водворить m-lle Nadine и за это требуем: во-первых, оставить ее на катке еще полчаса, по крайней мере, и, во-вторых, избавить ее от наказания.

– Да, да! – подхватываем мы все хором. – Пожалуйста, просим вас так поступить.

Немка смущена, но ей хочется быть любезной, и она соглашается, скрепя сердце, а мы ликуем.

Я хватаю Надюшу за обе руки, и мы уносимся по гладкому льду.

* * *

По дороге Надя сжимает мне руку и говорит просто:

– Не выношу сантиментов, всяких миндальностей с сахаром, но вы мне понравились с первого раза ужасно, m-lle Лида!

– Вот как!

– Вы не как все здешние кисейные девицы, заводные куклы. Вы – свой брат, славный малый. Жаль, что вы не моя сестра.

И, подумав, прибавляет:

– А из мальчишек один славный только, Володя Медведев.

– А Леля?

– Леденец.

– Что?

– Леденец ваш Лелька. Тихий, воды не замутит, барышня, да и только. Нарядила бы его в юбку. Из девиц – вот еще Маша Ягуби молодец; жаль, что нет ее на катке сегодня.

Затем она шепчет, заглядывая мне в глаза:

– А правда, что вы стихи пишете?

– А что?

– По-моему, глупо это. Лучше бы прозу. Или уж если стихи, так сатиру, как у Гоголя. Ах, голубушка! – неожиданно, совсем по-детски, добавляет она. – Напишите вы сатиру на мою «мучительницу», в ножки вам поклонюсь.

– Милая вы моя Надюша, – говорю я, смеясь, – никаких я сатир писать не умею. А вот лучше проедем-ка голландским шагом сейчас.

Она соглашается.

– Маша Ягуби! – кричит Надя и, вырвав свои руки, виснет на шее смеющейся Маши, появившейся на катке.

С нею высокий стрелковый офицер, ее двоюродный брат Невзянский, и компаньонка – подруга, мисс Рей.

– Вы бегаєте на коньках прекрасно, – говорит Маша и крепко, по-мужски, трясет мою руку.

– Bravo! Bravo! Вот это бег, настоящий бег! – кричит Вольдемар. – Вы давно катаетесь?

– С восьми лет. Начала на пруду у Малиновской дачи.

– Прелестно! – соглашается и Татя.

– Вот это по-моему, – перекрикивает всех Надя, – стремительность, быстрота и смелость, – совсем по-мальчишески.

– Покорно благодарю, – хохочу я.

– Господа, я предлагаю снять коньки и скатиться на «семейных» санях всей оравой с горы, – предлагает Надя.

– «Орава!» Какое выражение, однако! – щебечут возмущенные сестрички Петровы, бросая на девочку косые взгляды.

– Что она сказала? Что она сказала? – допытывается саксонка. – Что это такое «о-о-ра-ва»?

– Это значит высшее общество. Не беспокойтесь, m-lle! – находится Вольдемар.

– Отличная идея! Bravo! Чудесно придумано! Надя, за такую прекрасную мысль я делаю вас своим пажом! – смеется Маша, и веселые ямочки играют у нее на щеках.

– Если бы я и хотела взять на себя роль пажа, то только вот чьего. – И она берет меня за руку и так сжимает пальцы, что мне хочется вскрикнуть от боли. – У нас родственные натуры.

– Поздравляем вас. Чудесное приобретение, – язвят сестрички Петровы, которые про Надю иначе, как с презрением, не говорят.

– А мне, напротив, она очень нравится, – отвечаю я, дерзко глядя им прямо в глаза.

И чувствую, что этим приобрела трех недоброжелательниц сразу.

– На гору! Господа, на гору! Нечего терять золотое время! – слышатся вокруг меня веселые голоса.

Я окидываю каток одним взглядом.

Вон Павлик бегает теперь наперегонки с маленьким бароном Коко, в то время как старший его брат Леля водит Эльзу, едва переступающую по катку трясущимися и поминутно разъезжающимися на скользком льду коньками и повторяющую ежеминутно:

– Ах, как это трудно! Как это трудно!

Потом я спешу за другими на гору.

* * *

Какая высокая гора! Синий лед постепенно повышается, в хрустальный теремок, на самую вершину. Из этого теремка видно все Царское Село как на ладони. Золоченые купола собора и дворцовых церквей и самые крыши дворцов, утонувших среди запушенных снегом деревьев.

– Ну-с, рассаживайтесь, господа. И денег не возьму, провозу лихо, прямо в сугроб, – говорит Вольдемар.

Три сестрички пишат одновременно:

– Как в сугроб?! Не согласны. Не поедем.

– И отлично, меньше лишнего багажа, – шепчет мне Медведев.

– Ну, кто же садится? Не задерживайте же, ради Бога, господа. Не видите разве, вон лезет сюда моя «мучительница». Пропала моя головушка! – чуть не плачет Дина.

– И в самом деле, занимайте ваши места, mesdames et messieurs.

Худенький Вольдемар очень смешон, когда с умышленно неуклюжими движениями усаживается на переднем месте широких саней.

С шумом, хохотом все рассаживаются: баронесса Татя, Дина, я, Маша Ягуби с ее двоюродным братом, офицером. В последнюю минуту выражают желание прокатиться и сестры Вольдемара, белокурая Соня и черноокая Ларя – «Кармен».

– Ой, не много ли будет? Это называется немножко чересчур множко.

И Медведев тревожно взглядывает на заведующего санями сторожа-пожарного, который отвечает невозмутимо:

– Да ведь все едино, много аль немного, а сбавить нельзя.

– Верно, что нельзя, это ты правильно, братец. – И он берет за руль.

– Nadine! – доносится снизу. – Я запрещаю вам катиль на гора. Я запрещаю. Ни единов раз! Ни единов!

Это кричит «мучительница».

– Да мы не на гору вовсе, мы под горку, – невинно утешает ее Вольдемар.

– Все рафно. Я запрещаю.

– Ах, да что вы медлите? – с отчаянием срывается с уст

Дины, и она дает сильный толчок саням вперед.

– Ай! – вырывается у кого-то.

Сани летят вниз, с треском переворачиваясь несколько раз на спуске, и с грохотом раскалываются пополам. Что-то ударяет мне по голове, и в тот же миг – острая боль в руке.

Сани расщеплены. Мы лежим посреди ледяной дорожки. Кто-то стонет. Кто-то смеется. К нам бегут со всех сторон, осведомляясь, не ушиблись ли мы, не сломал ли кто-нибудь ногу, все ли благополучно.

– Приехали! – мрачно произносит Вольдемар, потерявший фуражку по дороге.

Он и офицер Невзянский помогают нам подняться. Надя, попавшая в сугроб, вылезает оттуда со сконфуженным видом.

– Вы не ушиблись? – осведомляется она у меня и тут же отскакивает, и в ее глазах ужас.

– Кровь! Кровь! Почему это кровь на вашей руке? – В глазах моих мутится от боли, и темные круги расплываются передо мною. Но у меня, однако, хватает силы шепнуть девочке:

– Ради Бога, не испугайте Эльзу и Павлика, они, кажется, не видели ничего. Они в кабинке. А я побегу домой.

Я киваю всем и несусь со злополучного катка.

Алая полоса крови уже успела просочиться сквозь платок, которым я второпях обмотала руку. Боль в руке заставляет подкашиваться ноги.

Нет, в таком виде невозможно появиться перед глазами «Солнышка» и мамы-Нэлли. Я должна хоть немного отойти.

В парке масса гуляющих, и все они с удивлением смотрят на бледную высокую девушку с окровавленной рукой. Не дай Бог встретится еще кто-нибудь из знакомых, начнутся расспросы, выражения сочувствия, соболезнования.

А боль становится с каждой минутой все нестерпимее, все сильнее.

Ах, уйти бы отсюда подальше, в дальнюю нерасчищенную часть парка, которая незаметно переходит в лес, где никого нет и где я могу пережить одна неприятные минуты. И я сворачиваю на глухую аллею.

* * *

Шумный парк остался далеко за мною. Впереди темная аллея огромного «дального» парка, который начинается сразу за аркой ворот и там дальше, уже за городской чертой, незаметно переходит в лес. Теперь в этом пустынном парке-лесу мне впору заняться своей пораненной рукой.

Здесь уже нет расчищенных дорожек; одна глухая тропа ведет в лесную глушь. Следы заячьих лапок четко отпечатываются на снежных сугробах. Диким запустением и тайной леса веет отовсюду. С глухим звуком ударяется большая еловая шишка о пень. Белочка, кокетливо помахивая пушистым хвостом, близко от меня перебегает дорогу.

Солнце спряталось, словно утонуло в белоснежных вершинах деревьев. Легкий сумрак окутывает лес. Зимний день короток. Надо спешить, а то опоздаю домой к обеду. Вероятно, Эльза и Павлик уже хватились меня и бьют тревогу.

Усаживаюсь я на обрубке толстой сосны, предварительно смахнув с нее снег теплой перчаткой, и, обнажив руку выше кисти, набираю снегу в другую и тщательно смываю с израненной руки кровь.

Сначала нестерпимая боль выдавливает на глаза слезы, затем словно огнем охватывает руку, и боль стихает. Я быстро обматываю больное место платком и вздыхаю с облегчением. Теперь сижу на пне и люблюсь, как медленно падают на землю сумерки короткого зимнего дня.

И таинственная прелесть леса зажигает какие-то неясные рифмы, нестройные образы. Я чувствую приток вдохновения, и грезы поют во мне, складываясь в стихи.

* * *

– У-у-у-у!

Что это – сосны скрипят так жалобно или ветер играет в чаще?

Странный звук повторяется, к моему изумлению, еще и еще раз. Затихает не сразу. На смену ему слышатся быстрые тяжелые шаги. Хрустит сухой валежник, трещат сучья деревьев.

Я вглядываюсь в чашу.

Что это? Человек? Гуляющие, забредшие в эту глухую часть парка-леса? Нет, это не могут быть человеческие шаги. Люди так не ходят. А между тем они приближаются, странные, тяжелые, непонятные шаги. Резче, сильнее треск валежника, и хруст сучьев, и этот странный звук.

Не то воркотня, не то стоны, слегка напоминающие человеческие. И вдруг рев оглушает чашу. На этот раз громко и протяжно несется на весь лес:

– У-у-у-у!

Я хватаюсь за ствол дерева. «Ведь это медведь! И рев медвежий!»

И холодный пот выступает у меня на лбу.

И точно в ответ на мою догадку снова гудит по всему лесу ужасный рыкающий протяжный вой.

В тот же миг с треском разделяются кусты, и огромная бурая голова с маленькими глазами высовывается из зарослей, страшивая снежный дождь с гибких веток.

* * *

– Медведь!

Ужас разливается по всему моему телу.

Страшная бурая голова несколько секунд нюхает воздух, затем маленькие глазки останавливаются на мне, и огромное туловище бурого медведя на задних лапах бросается в мою

сторону.

Крик замирает на моих губах. Я закрываю глаза и прирастаю к месту. Чувствую, не поднимая век, теплое дыхание над своим лицом и тот острый медвежий запах, который знаком мне по одному из отделений зоологического сада, куда меня водили в детстве.

Вот-вот конец. «Он разорвет меня на части, задушит в своих ужасных лапах», – мелькает в моей голове, и что-то тяжелое наваливается мне на плечи.

* * *

– Пожалуйста, не бойтесь. Это ручной Мишка. Он не причинит вам вреда. Он еще очень молод и вздумал по глупости поиграть с вами. Глупый Мишук! Назад!

Я открываю глаза и замираю от изумления. Где же мой страшный враг, заставивший меня умирать со страха?! Передо мной теперь два живых существа вместо одного.

Подле страшного медведя, вовсе не кажущегося теперь таким страшным и большим, как мне это показалось в первую минуту, находится среднего роста человек, такой же мохнатый, как и его спутник Мишка.

На человеке какая-то мудреная, вывернутая наружу куртка, высокие валенки, на голове мохнатый треух. Из рамки темного меха выглядывает его лицо, не имеющее и признака румянца, несмотря на мороз. Вертикальная морщина пере-

секает лоб. Губы наполовину скрыты густыми черными усами, и на всем лице, угрюмом и печальном, лежит как будто печать недовольствия и затаенного раздражения.

Такие лица не знают улыбки. Молод или стар этот человек, решить трудно. Волосы его скрыты под треухом, а сурово, печальным глазам как будто незнакома юность. И голос его, глуховатый и отрывистый, не звучит, как звучат обыкновенно молодые свежие голоса:

– Пожалуйста, не бойтесь моего друга. Он скорее забавный, нежели страшный, – говорит еще раз незнакомец и хмурит густые черные брови. – Но что это с вашей рукой и как вы попали в эту глушь? – задает он мне вопрос, бросая взгляд на мою обвязанную платком руку.

Я не успеваю ему ответить, потому что Мишка поднимается на задние лапы и кладет снова обе передние мне на плечи. И вмиг его горячий красный шершавый язык облизывает мой лоб, нос, щеки и губы.

– Ой! – невольно вырывается у меня со смехом, и, защищаясь от непрошеной ласки, я взглядываю на незнакомца.

И точно другой человек стоит передо мною. Улыбка играет на его лице. Большие белые зубы сверкают в этой улыбке, и блестят, как темные маслины после дождя, большие глаза, разом потерявшие свою недавнюю угрюмость. Какое простодушное, почти детское выражение сейчас на суровом прежде лице незнакомца, как изменяет его улыбка!

– О, вы еще не знаете, что за проказник мой Мишка. Сей-

час я покажу вам, как он умеет бороться. Хотите?

– Откуда он у вас?

– Мне привезли его однажды с двумя другими крошками-медвежатами в корзине. Его мать убили на облаве. Двух других мишек я отдал знакомым, а этого оставил себе. Отпоил его молоком, выкормил, вырастил и теперь видите сами, что это за красавец. Ну, Мишук, покажи барышне, как ты умеешь со мною бороться! – сказал он, слегка смазав медведя по морде своей темной рукавицей.

И, прежде нежели Мишка успевает предпринять что-либо, мой незнакомец делает прыжок и толкает его в сугроб.

Несколько минут Мишка, облепленный и запущенный снегом, трясет головою и забавно отфыркивается и пыхтит. Затем, неуклюже перебирая ногами, несется на своего противника. Завязывается борьба. Мишка очень смешон. У него что ни движение, то умора.

Забыв недавние переживания, страхи и боль в руке, я хочу до упаду, глядя на них обоих.

Незнакомец в своей короткой куртке лапландца строен и ловок; зато Мишка, в его природной бурой мохнатой шубе, – одно сплошное карикатурное явление. Когда человек неожиданно быстрым движением бросает его в рыхлый сугроб и тонет в нем вместе со зверем, Мишка начинает скулить с видом обиженного ребенка и трет лапой глаза.

– Он, очевидно, недоволен, что его победили. Совсем как капризный мальчик. Ха-ха! – говорит незнакомец.

Борьба вызвала легкую краску на его бледных щеках, продольная морщинка между бровями исчезла, и лицо его стало свежо, молодо и красиво. Ему нельзя сейчас дать более двадцати пяти лет.

– Какая прелесть! – говорю я, глядя на Мишку. – Можно его погладить?

– Конечно.

– Вы его любите? Да?

– Он мой единственный друг, – слышу я странный ответ, холодный и гордый.

И вмиг исчезает краска молодости с лица моего собеседника. Улыбка меркнет в глазах и на губах. Угрюмый тяжелый взгляд упирается в землю. Не надо было, должно быть, задавать этого вопроса.

Чтобы скрыть свое смущение, я ласкаю теплый мех живой медвежьей шкуры. Мишка довольно урчит и сладко прищуривает глаза, совсем как большая дворовая собака.

– Кто вы? – спрашиваю я.

Брови моего собеседника высоко поднимаются.

Мне делается неловко и стыдно от моего любопытства.

– Вы повелитель здешнего леса – лесной царек, – говорю я, принужденно смеясь. – Вы живете среди самой чащи этого хмурого леса, окруженный его четвероногими обитателями. Медведи, лисы, волки, зайцы и белки составляют вашу покорную свиту, и с нею вы прячетесь от людей. Когда здесь в лесу все зелено, ясно, солнечно и красиво, – вы играете

на свирели, и звери пляшут под вашу музыку. Это звериный праздник. Но на него не возбраняется приходить и лесовикам, и козлоногим, и лесовичкам в зеленых одеждах из берез, и маленьким лесным гномам. Все пляшут до изнеможения, пока поет свирель. Потом вы угощаете ваших гостей медом цветов, хрустальными капельками росы с подорожников. И на ложах из мха ваши слуги готовят им постели. А зимою сама природа устраивает вам ледяной терем из хрустального ажурного льда. Ледяной теремок – дворец в самой чаще.

Я продолжаю свою длинную импровизацию до тех пор, пока угрюмые глаза моего собеседника не загораются снова и лицо не делается опять простодушно-мягким и детски, доверчивым.

– Милое дитя, – говорит он, – если бы то, о чем вы рассказываете, могло бы осуществиться, я бы считал себя счастливейшим из людей.

– Почему?

– Чем дальше от людей и от их суетного общества, от их мелочности, придирчивости, зависти и злобы, тем лучше. Вы еще так юны, жизнь улыбается вам, и вы меня не поймете. Но я много видел горя в жизни, и поэтому меня тянет или в зеленые дебри леса, или в мой хрустальный теремок. Однако уже поздно. Я выведу вас на дорогу и провожу до города. Можно?

И, не дожидаясь моего ответа, он бросил медведю:

– Ну, Мишка, идем!

Тот встал на задние лапы и с тою же лаской-воркотней закинул одну из передних на плечо своего двуногого друга, словно обнял его, и, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, зашагал о бок с ним, как товарищ-спутник.

На том месте, где у входа в город лес снова превращается в парк с его разбегающимися аллеями, мы расстаемся.

– Кто вы, странный человек? Скажите мне ваше имя по крайней мере. – Срывается помимо воли с моих нетерпеливых уст.

– Зачем? Вы сказали, что я лесной царек, и пусть таким лесным царьком я и останусь в вашей памяти, милое дитя с радостными глазами.

Я смотрю на него еще с минуту. Какой странный, какой непонятный, особенный человек.

– Прощайте, – говорю я наконец. – Спасибо, что вывели меня на дорогу. Уже сумерки. Я могла легко заблудиться в лесу.

– И вам спасибо, – слышу я ответ, – за то, что не испугались, не побоялись моего угрюмого вида. За это вас благодарю.

И опять тот же взгляд, суровый и печальный. Он должен быть очень несчастлив, этот человек.

* * *

– Где ты была так долго? Что с рукою? Разве можно так пугать?

Эльзе сделан выговор за то, что отпустила меня одну в глухую часть парка. У мамы-Нэлли и у «Солнышка» встревоженный вид, испуганные глаза. Они беспокоились обо мне ужасно. В результате мне запрещено кататься с гор и гулять одной.

– Это не Ш., где нас знали все и где мы всех знали, – подтверждает с недовольным видом отец.

Потом я рассказываю им о своей встрече с незнакомцем.

– Лесной царек... Хочется верить, что это так.

– Фантазерка, – смеется мама-Нэлли, – и когда ты спустишься на землю и не будешь витать со своими грезами в облаках?

А вечером, перед сном, я беру мою заветную тетрадку и набрасываю в ней новые рифмы в честь лесного царька и его четвероногого друга. И с волнением читаю их Варе.

* * *

На дворе крутит декабрьская выюга. В комнате мамы-Нэлли, перед огромным трюмо, зажжены свечи, а поверх ковра

разостлана большая, чистая белая тряпка.

Я стою перед трюмо неподвижная, как кукла. Белое платье клубится вокруг моей хрупкой фигуры. Два цветка белой лилии запутались в густых русых волосах.

Мама-Нэлли, в темно-гранатовом бархатном платье с брильянтовой бабочкой в искусно причесанных черных волосах, сидит в удобном широком кресле и, вооружившись лорнетом, подробно «инспектирует» мой наряд.

Варя, уложив детей, пришла посмотреть на сложную процедуру бального одевания. Эльза, Даша и портниха ползают вокруг меня, подкалывая что-то у трена и пристегивая последними стежками нечаянно распустившийся воздушный волан.

Несколько дней тому назад Марья Александровна Рагодская приезжала приглашать нас на большой вечер в одну из стрелковых частей, куда только что перевели ее мужа. Мне очень не хотелось ехать на этот вечер, тем более что никого еще из танцующей молодежи я не знала здесь, в Царском.

– Пустяки, – успокаивала меня мама. – во-первых, ты знакома со многими сверстницами-барышнями, которые не замедлят представить тебе своих братьев, родственников и знакомых. Во-вторых, ты знаешь молодого барона Фрунка, Медведева и Невзянского. Да кроме того, и Марья Александровна не позволит тебе скучать.

Ах, вот именно этого-то я и не хочу. Будут подводить незнакомых людей, которые, в свою очередь, с глухим чув-

ством неудовольствия станут из вежливости кружить в вальсе чужую, незнакомую им барышню. Лучше бы не ехать. И мои глаза с мольбою останавливаются на лице мамы-Нэлли.

– А что, если остаться? Право, я прекрасно бы провела время с Варей и Эльзой. Можно?

Я вкладываю в эту мольбу всю имеющуюся в душе моей нежность.

Минутная пауза. Затем энергичный отрицательный кивок черной головки, от которого брильянтовая бабочка загорается миллионами белых огней.

– Если ты хочешь сделать мне неприятность, девочка, оставайся, – звучит милый голос. – Вот, скажут добрые люди, сама вырядилась, на бал приехала, а падчерицу дома оставила, по всему видно – мачеха. Прелестно. Нечего и говорить.

Что? Мачеха? Падчерица? О, эти слова сжимают мне сердце. Я вырываюсь из рук меня одевавших и обнимаю маму-Нэлли.

– Еду! В таком случае еду!

И спустя полчаса вороная пара мчит нас на дальний конец города.

* * *

В большую залу Стрелкового собрания я вхожу точно приговоренная. Вспоминается другой вечер в маленьком Ш., на котором присутствовал Большой Джон. Нас встречает

Марья Александровна с гурьбою молодых стрелковых офицеров. Следуют имена, фамилии, чины и опять имена. Разумеется, я не запоминаю ни единого. От золотого шитья мундиров рябит в глазах.

Молодежь щелкает шпорами, приглашая на контрдансы. Ах, какая это пытка для молоденькой дикарки, обожающей природу!

Там, в дальнем углу зала, вижу «Солнышко», который приехал сюда получасом раньше. Он стоит в группе более солидных офицеров и незаметно издали ободряюще улыбается мне.

Хочется кинуться к нему или крикнуть во все горло:

– Увези меня, пожалуйста, отсюда! Пожалуйста, увези!

Я вижу Татю Фрунк, порхнувшую по зале с блестящим адъютантом, дальше – Машу Ягуби, кружащуюся со своим кузенком-стрелком. Вон три сестрички Петровы одновременно пускаются в пляс. Счастливицы! Они чувствуют себя в своей тарелке. А я? Что за нелепое удовольствие, придуманное людьми, эти балы!

Кругом танцуют. Мама-Нэлли с Марьей Александровной заходят за колонну, оживленно разговаривая между собой. Я готова уже юркнуть за другую, чтобы исчезнуть с поля зрения всех этих господ в расшитых золотым шитьем мундирах, как кто-то преграждает мне дорогу.

– На тур вальса, m-lle.

Безусый офицерик, немногим старше меня, стоит передо

мною. Глаза его веселы.

– Ах, слава Богу! – говорю я.

– Почему – слава Богу? – спрашивает он.

– А потому что это вы, а не взрослый офицер, приглашаете меня.

– То есть как это не взрослый офицер? – Юный офицерик начинает усиленно крутить несуществующие усы.

– Ах, пожалуйста, не обижайтесь. Вы, разумеется, не похожи на тех важных господ с усами, которые держатся прямо, точно проглотили аршин. Ха-ха-ха!

– Да и я не горбатый, слава Тебе, Господи, – протестует он. – И у меня гм... будут тоже усы, уверяю вас, даже очень скоро.

– Не раньше, как через четыре года, однако.

– Ну вот еще! Гораздо раньше.

– Ну, тогда через пять.

– А вы злая. Ха-ха-ха!

Мы кружимся несколько минут молча. Потом юноша говорит:

– Пляшете вы превосходно и легко, как перышко. А фигуры вальса умеете делать?

– Что за вопросы. Понятно!

Мы останавливаемся посреди залы и проделываем несколько фигур.

Мой кавалер в восторге. Здесь мало кто танцует такой вальс.

– Это новость. Где вы выучились всему этому? – осведомляется он, отводя меня на место.

– В институте, конечно.

– А-а-а!

Он опять покручивает невидимые усики и, лукаво прищурив глаза, прибавляет:

– А правда, что институтки обожают ламповщика, а свиною, извините ради Бога за выражение, именуют ветчиной?

Я вспыхиваю.

– Сами-то вы обожаете ламповщика! – сердито говорю я.

– Смотрите, смотрите на трех сестричек!

– Ха-ха-ха!

Посреди залы стоит высокий офицер с самодовольным видом, с длинными усами и красивым важным лицом. Вокруг него суетятся три сестрички Петровы: Нина, Зина и Римма.

– Я вам спою, – возбужденно звонко кричит Римма, точно офицер совсем глухой. – Пойдемте в библиотеку, я вам спою.

– Мосье Линский, – перекрикивает ее старшая, Нина, – я нарисую ваш профиль, хотите?

– А я сыграю вам Моцарта. В маленькой зале есть рояль, – вторит ей средняя, Зина.

Осажденный с трех сторон, Линский всячески хочет избавиться от порядочно-таки надоевших ему сестриц.

– Пойду спасать его, – смеясь, говорит мой юный кавалер. – А потом вернусь к вам, и будем плясать с вами кадрили. Ладно?

– Ладно, – откликаюсь я весело, сразу почуяв в эхом юноше «своего брата», без фальшивого «бального» тона и светских прикрас. Но если бы это «ладно» услышал «Солнышко» или мама-Нэлли...

– Кстати, меня зовут подпоручик Тимофей Зубов, – говорит он, щелкая шпорами, – по молодости лет все меня называют Тима Зубов. Называйте и вы меня Тимой. Ладно?

– Ладно, буду называть Тимой, – хохочу я.

Он бежит вприпрыжку и раскланивается перед группой трех девушек.

Нина и Римма одновременно опускают ему свои левые руки на плечи. Зина тоже тянет свою. Но – увы! – у молоденького офицера только два плеча, и танцевать он одновременно может, конечно, только с одною. Поэтому он кружится со старшей, в то время как две младшие поджимают губки.

– Ух, заморился! – И запыхавшийся Тима снова передо мною. – А вы, я заметил, тоже танцевали.

Я действительно танцевала в его отсутствие с двумя какими-то офицерами.

– Слышите? Кадриль! Пора становиться в пары.

И он предлагает мне руку, свернутую калачиком. Во время кадрили Тима незаменим. Он не молчит ни минуты.

– Не люблю трех сестричек, грешен, – смеется он, понижая голос. – Уж очень прилипчивы. Одна играет, другая поет, третья рисует. Бррр, сколько талантов! За единственное прощаю им многое – варенье дивно варят. Я у них как-то два

фунта в один присест съел. Очень уж вкусным показалось.
А вы не варите варенья?

– Никогда, – с ужасом говорю я.

– И не рисуете?

– Ни-ни.

– И не поете?

– Ни.

– И не играете?

– Увы, нет. То есть да, но очень плохо.

– Так что же вы умеете, однако?

– Ах, ты, Господи, вот так экзамен! – хохочу я. – Во-первых, бегаю на коньках, во-вторых, правлю лодкой, в-третьих, катаюсь на лыжах, в-четвертых...

– А вы стихами не грешите?

Лицо Тимы принимает выражение лукавой кошачьей мордочки.

– А вы откуда это выудили?

– Так, показалось...

– А вы перекреститесь, чтобы не казалось, – смеюсь я и немножко краснею.

Потом Тима начинает сыпать анекдотами из солдатской жизни. Представляет зайку-солдата, потом другого, который никак не может привыкнуть к мундиру после деревенской жизни, третьего, чересчур близорукого, который принимает за офицера стрелковую мишень, и т. д.

– Нехорошо смеяться над физическими недостатками, –

говорю я степенно, тоном классной дамы.

– Так ведь это анекдот! – оправдывается Тима и путает фигуру.

Визави наше – баронесса Татя и высокий адъютант: Татя раскраснелась от танцев и еще больше похорошела. Но ни в одной черточке ее прелестного лица не отражается то веселое бальное оживление, которое так свойственно ее нежному возрасту.

– Какая красавица! – шепчу я моему кавалеру. – Не правда ли?

– Красавица? Не знаю. По-моему, она кукла, светская кукла, и только, – горячится он.

– Ну, уж не знаю, если она не хороша, то кто же вам нравится после этого? – возмущаюсь я.

– Вы, – просто говорит Тима. – Ей-Богу, вы. Потому что я тоже, как и вы, и коньки, и лодку обожаю, и лыжи, и верховую езду. Ведь редко барышню встретишь, которая бы предпочла балам всю эту прелесть. Все они на выездах и нарядах помешались. А вы нет. Ведь правда? Я отгадал?

– Отгадали, пожалуй.

– Эх, досада, что вы не свой брат офицер. Мы бы с вами такие экскурсии совершили!

Потом мы вскочили по команде дирижера и закружились в общем *grand rond*.

В уютной библиотеке, превращенной в третью «дамскую» гостиную, собралось несколько девиц с блюдечками мороженого и со стаканами прохладительного питья. Три сестрички, Маша Ягуби, баронесса Татя, две сестры Медведевы. Их брат Вольдемар, как и старший брат Тати, Леля, не присутствовали на вечере.

– Ах, как весело! – кричала, обмахиваясь веером Маша Ягуби. – Жаль только, что Дины Раздольцевой нет. Она вносит особенное оживление во все вечера.

– Ей еще рано выезжать, она малышка, – цедит Нина Петрова, – ей только пятнадцать лет.

– Неужели же ей ждать до тридцати? – щурится Маша, отчего лицо старшей сестрички заливаается румянцем.

Мы все знаем, что ей под тридцать лет, но она тщательно скрывает это и старается держаться наивного тона подростка.

– А вам весело, m-lle? – обращается ко мне Татя. – Я видела, как вас смешил Тима во время кадрили.

– Что? Тима? Но кто же будет танцевать с Тимой? Ведь он мальчик. Ему восемнадцать лет, – восклицает Римма.

– Да вы сами танцевали, кажется, очень охотно с Тимой, – простодушно смеется Маша Ягуби.

– За неимением лучших кавалеров, конечно, – язвительно

говорит Нина. – Но Тима годен только для детворы.

– Ах, напротив, с ним очень весело, он такой забавный, – говорю я как ни в чем не бывало.

В эту минуту в дверях зала появляется блестящий адъютант – дирижер танцев на этом вечере.

– На вторую кадрили, m-lles, прошу пожаловать в залу.

И, звеня шпорами, он подает руку Маше Ягуби и выбегает из гостиной.

* * *

Вторую кадрили я танцую с Невзянским. Это умный и веселый молодой человек.

– Ну, как ваша рука? – осведомляется он. – Помните, как угораздило нас всех тогда свалиться?

– Еще бы не помнить! – смеюсь я.

За второй кадрилию идет котильон, затем мазурка. Я танцую теперь без передышки. Тима перезнакомил меня со всеми своими сослуживцами, и у меня нет минутки посидеть спокойно.

– Теперь дамы должны выбирать кавалеров! – заглушая звуки музыки, звенит голос дирижера.

И все пары останавливаются посреди зала.

Кого же мне выбрать?

Пытливыми глазами обвожу огромную комнату. Нет, не могу лукавить, не могу остановить своего внимания на че-

ловеке, которого совсем не знаю. Не могу даже в шутку.

И вдруг глаза мои вспыхивают, задержавшись на милом лице, таком дорогом и любимом. И я останавливаюсь, смущенная, перед статной фигурой в военном мундире.

– Удостойте, «Солнышко»! – сопровождая низким реверансом свои слона, говорю я.

Мой отец подает мне руку и вступает в танцующие ряды. «Солнышко» пляшет мазурку, как природный поляк. Недаром его мать – полька из Варшавы. Его стройная высокая фигура, его гордо приподнятая голова восхищают всех. С грацией и достоинством ведет он в танце свою юную даму.

Нам аплодируют. «Солнышко» делает ловкий неподражаемый поворот на месте, щелкает шпорами и, закружив меня, сажает на место, причем не забывает поцеловать мне руку, как «настоящей» взрослой даме.

Я делаю усилие над собой, чтобы не кинуться ему на шею и не расцеловать.

– Вы, видно, очень любите вашего отца? – осведомляется у меня Тима, следивший за нами со своего места.

– А вы разве не любите вашего?

Он не успевает ответить мне, так как передо мною появляется тонкая фигурка Марии Александровны Рагодской.

– Ну что? Веселитесь, милая деточка? – осведомляется она. – Раскраснелась-то как. Ну и отлично, не скучно, значит. А вот вам еще кавалер, хотя и не танцующий. Но он просил меня представить его вам. Вот познакомьтесь: Борис

Львович Чермилов.

Кто это? Да неужели!

Передо мною бледное, хмурое лицо; суровые глаза, продольная морщинка между бровями; черные усы, черные же, небрежно закинутые назад волосы; плотная, несколько согнувшаяся фигура в мундире гвардейской стрелковой части.

– Неужели это вы, «лесной царек»!

– Какой там «лесной царек»! Просто тень отца Гамлета. Не видите разве? – острит Тима.

Чермилов смотрит сурово, без улыбки и молча пожимает мою руку. И под его суровым взглядом исчезает веселье Тимы и мое.

– Так вы офицер? А я и не знала, – стараясь вовлечь его в беседу, начинаю я.

Но он, по-видимому, неразговорчив.

– А как поживает мой знакомый, Мишка? – продолжаю я.

– Благодарю вас. Хорошо.

За ужином мы сидим рядом и оба молчим. Если бы не Тима, можно было бы умереть со скуки. Милый мальчик старается вовсю, развлекая меня. Но на Чермилова он поглядывает сурово. Да и все здесь как-то точно сторонятся «лесного царька».

– Мрачная личность, – шепчет мне Тима.

Но мне почему-то жаль Бориса Львовича. Не может же без причины быть одиноким и грустным такой еще молодой человек. И когда «Солнышко», прощаясь с офицерами, при-

глашает их заглядывать к нам, я шепотом напоминаю ему о Чермилове.

И его приглашают тоже.

* * *

Теперь каждое воскресенье у нас «журфиксы». Полгорода собирается в нашей гостиной. Старшие играют в карты, в шахматы; «Солнышко» – ярый шахматист и предпочитает игру в шахматы всем другим развлечениям.

У нас бывают офицеры: Невзянский, Тима Зубов, Линский и Чермилов; бывают знакомые барышни – мои сверстницы и их братья.

Молодежь устраивает шумные игры, поет хором, читает «кружком» новую повесть или танцует под фортепиано.

Душою общества всегда является Дина Раздольцева. Она еще подросток и не выезжает на настоящие вечера, но к нам ее отпускают в сопровождении фрейлейн Вульф.

Дина всегда вносит с собою какую-нибудь новость. Научить наших ребятишек какой-нибудь шалости: подсыпать в чай немке табаку, раздражить яростного козла Сеньку на кухне – вот ее обычные проказы. Дети от нее в восторге. С ее появлением начинается суэта. Я, Вольдемар Медведев с его младшей сестричкой Соней, веселая Маша Ягуби и Тима Зубов присоединяемся к скачущей Дине. Оба мои братишки не отстают от нас. В сущности, мы, взрослые, такие же дети,

и с не меньшим удовольствием играем в жмурки, визжим и беснуемся.

Татья всегда корректна и в меру оживлена в такие минуты. Сдержанными и как будто негодующими кажутся три сестрички Петровы.

– А вы, m-lle, очень подходите к Дине, – язвит старшая.

– О, вы так схожи натурами, – вторит средняя.

– Вы не перейдете на «ты»? – невинно выпевает младшая.

– Присоединяйтесь к нам! – кричу я им.

– Как это можно! Мы не маленькие, чтобы беситься.

– Старые девы! – говорит Дина и презрительно оттопыривает губы.

– Ну их! Не зовите их, Лидок. Без них веселее, – решает она.

Но я, отлично помня слова мамы-Нэлли держать себя равно любезной хозяйкой и с симпатичными, и с несимпатичными мне людьми, присаживаюсь к сестричкам и завожу с ними разговор на «высокие» темы.

А из угла комнаты на меня устремляется пара настойчивых черных глаз, упорных, угрюмых и суровых.

Борис Львович Чермилов целые вечера просиживает молча в нашей гостиной, перебирая альбомы и односложно отвечая на предлагаемые ему вопросы. Нам редко приходится перебраться с ним двумя-тремя словами, но его глаза всюду. И этот упорный взгляд невольно будит во мне сочувствие и жалость.

«Бедный юноша! Какое горе таится у него на сердце под расшитым галуном гвардейским мундиром?» – думаю я.

– Monsieur Тима, он всегда был таким? – обращаюсь я к своему новому приятелю, зачинщику всяческих шалостей и проказ.

– Вы про тень отца Гамлета? Что и говорить, мрачная личность, – отвечает он и машет рукою.

– О, какой он таинственный и необыкновенный! – восторгаются три сестрички.

– Ого! – хохочет Вольдемар. – А по-моему, козел Сенька много таинственнее. Уж этот-то не говорит ни слова.

– Перестаньте, – сержусь я. – У Чермилова какое-то горе, а над горем смеяться грешно и стыдно.

– Ну, уж и горе! Сомнительно что-то. Да он и в колыбели был таким.

– А вы его знали в колыбели? – подскакивает Дина.

– Батюшки, испугался! Караул!

И Володя Медведев со смехом лезет под диван.

* * *

– Господа! В средних губерниях голод. Крестьяне и их дети едят хлеб с мякиной. И я предлагаю к Рождеству устроить благотворительный базар, вещи же для этого базара делать собственными руками.

И Дина, запушенная снегом, влетает в прихожую в сопрово-

вождении своей длинной саксонки.

У нас собралось целое общество: Медведевы, Фрунк, Петровы, Ягуби и офицеры.

Я победоносно оглядываюсь на сестричек.

«Ага, – думаю я, – вот вам и „безманерная Дина!“».

Никакие манеры не заменят отсутствия сердца, а оно у нее чистый брильянт.

– Ай да m-lle Дина! Отличная идея! – подхватывает «Солнышко». – Жаль, что мы с Лидюшей слабоваты насчет женских рукоделий, а то и я бы вам помог.

– Мы также плохо шьем, – говорят три сестрички, – но зато, – Зина, средняя, улыбается, – я буду вам играть, пока вы будете работать, я все время буду играть.

– А я срисую с каждой из вас по портрету, – предлагает Нина.

– А я спою что-нибудь для вашего развлечения, – щебечет Римма.

– О, помилосердствуйте, m-lles! – с ужасом вскрикивает Вольдемар. – Мы развесим уши от стольких приятных удовольствий и не нарботаем ничего.

– Увы! – срывается у меня грустно. – Насчет работы я действительно швах, «Солнышко» прав: я умею только вязать из шерсти на двух спицах.

– Вот и отлично. А я умею только делать шапочки из пуха, – обрадовалась Дина.

– Господа! Пусть никто не стесняется и делает все, что в

его силах.

– Я буду выпиливать изящные вещицы, – предложил Тима.

– Я недурно рисую акварелью, – вставил Линский.

– Представьте себе, что я шью, как заправская портниха, – неожиданно выпалил Вольдемар. – Спросите сестер. Честное слово! Соне я такой однажды лиф соорудил, что мое почтение!

– И вот, господа, мы нарботаем много-много всякой всячины к Рождеству, а во время городской елки разложим в зале ратуши все наши вещи и распродадим, деньги же пошлем голодающим крестьянам.

– А я беру на себя миссию объездить весь город и собрать у наших обывателей в помощь вашему делу все, что только возможно, вставила мама-Нэлли, – И весь мой старый гардероб к вашим услугам.

– Вы ангел! – кричит Дина. – Вы небожительница!

– Вы восторг!

– Ach, mein Gott! – роняет саксонка.

А Вольдемар уже летит в сопровождении мамы-Нэлли, вместе с Соней Медведевой, Машей и мною на антресоли, где у нас хранятся старые, вышедшие из моды костюмы.

Мы роемся в нем с полчаса, потом возвращаемся в гостиную, нагруженные каждая до подбородка старыми платьями и кусками шелка, бархата и кружев.

– Господа, смотрите! Здесь такая масса вещей, что из них

можно костюмы накрыть и нашить для детишек голодных кофточки теплые, капора и все такое. Чудесно! – кричит с порога Дина.

Все оживлены, одухотворены предстоящей работой. Желание принести пользу захватило всех. Быстро разбираем материал, кроим, порем, сшиваем.

Я смеюсь и болтаю взапуски с Диной, но неожиданно смолкаю, встретив на своем лице взгляд угрюмых, печальных глаз.

Передо мною стоит Борис Львович Чермилов. Его губы кривятся в усмешке, глубокая морщинка бороздит лоб. Какое у него несчастное лицо в эту минуту!

– Вы знаете, – говорит он, – я совершенно лишний здесь, потому что решительно не обладаю никакими талантами, которыми я мог бы принять участие в задуманных здесь работах, но я внесу свою лепту в ваше предприятие. Об этом не беспокойтесь.

И, сделав один общий поклон, Чермилов Удалился, несмотря на усиленные просьбы «Солнышка» и мамы-Нэлли.

Странный человек!

* * *

Наши вечера приобрели особенную прелесть. Большой обеденный стол теперь – рабочий.

Все мы заняты, все приносим пользу по мере сил. Я вяжу одеяла на деревянных спицах, розовые, желтые, белые и голубые. Трем сестричкам дали работу полегче: подрубать изящные галстуки и носовые платки, которыми изобилует наше имущество. Впрочем, младшая разрисовывает еще и фарфоровые тарелки. Кармен, то есть старшая Медведева, Ларя, вместе с братом сооружает удвоенными силами какую-то умопомрачительную накидку из кружев, тюля и лент, и трудно решить, у кого она выходит искуснее. Кажется, пальма первенства принадлежит Вольдемару. Тима Зубов помогает сматывать шерсть и шелк, то есть, попросту говоря, мы бессовестно пользуемся его растопыренными пальцами, с которых сматываем шерстяные и шелковые нитки. При этом восемнадцатилетний офицерик, к общему смеху, непременно путает материал настолько, что его приходится потом долгое время приводить в порядок. Кто-нибудь из офицеров, Линский, Невзянский или юный барон Леля, читает. Мы слушаем затаив дыхание, то бессмертные «Вечера на хуторе близ Диканьки», то «Русских женщин», то «Дворянское гнездо». Иногда появляется молчаливый Чермилов.

– Прямо из лесу. От вас хвоей пахнет. Прелесть, как важно, – восторгается Дина и спрашивает: – Ну, а ваш сюрприз? Приготовили его для базара?

«Лесной царек» в такие минуты мычит что-то неопределенное себе в нос. Вольдемар хохочет.

– А m-lle Дина совсем не любопытна. О нет!

Борис Львович не улыбается даже и молча садится в свой угол.

Я снова вижу пару черных блестящих глаз, устремленных на меня оттуда. Он точно присматривается ко мне, точно изучает мои движения, лицо, походку. И мне становится как-то жутко и не по себе под этим настойчивым взглядом. Потом он уходит, не простившись ни с кем.

– Не люблю я этой тени отца Гамлета, – смеется Маша Ягуби, покачивая ему вслед головой.

– Пари держу, что он опять в лес удрал, – вторит ей Володя Медведев.

– Неужели он никогда не смеется? – срывается у его младшей сестры, Сони.

– Нет, как же! – отзывается Тима. – Раз я видел его хохочущим, когда его Мишка с солдатом боролся: совсем как будто другой человек.

Ах, правда! Ведь и я видела этого мрачного человека добродушно, ребячески довольным в обществе его мохнатого друга.

– Господа, прошу внимания, – возглашает Линский, мастерски читающий стихи, и возвышает свой красивый баритон.

Гурзуф живописен.
В роскошных садах
Долины его потонули...

– Господа, кто стащил мою иголку?

– Дина! Тссс! Штраф!

За помеху в чтении взимается штраф в пользу голодающих.

И платим мы штраф с особенным удовольствием и охотой.

А работа подвигается. Да и время – скоро рождественский сочельник.

* * *

Дождались-таки Рождества! Огромная елка стоит в гостиной. Запах свежей хвои наполняет комнаты. Гремит весь вечер рояль под искусными руками Эльзы.

Я с удовольствием принимаю участие в детских забавах, а сама нет-нет да поглядываю на часы: после детской елки мы с «Солнышком» и мамой-Нэлли едем на «наш» знаменитый базар в городскую ратушу. Там же и наш костюмированный вечер.

Костюм цветочницы с корзиною живых цветов разложен у меня на кушетке, и черная полумаска ждет на столе. Решено, что я войду немного позднее в залу, чтобы никто не узнал Лиды Воронской по сопутствующим ей родным.

Затея костюмированного базара принадлежит Володе Медведеву.

– Гораздо интереснее не знать, у кого покупаешь. Забав-

нее во сто раз, – уверял он.

По окончании базара решено ехать кататься в мокшанах.

– Будем заезжать в знакомые и незнакомые дома, – развивает эту идею Тима.

– Ах, вот чудесно! Восторг! – пищат барышни.

– Как хотите, а дочку я с вами без себя не пущу, – заявил «Солнышко».

Поднялись суматоха, охи, протесты.

– А вы вот что, Алексей Александрович, поручите вашу дочь мне. Будьте покойны, довезем в сохранности, – говорит Тима.

– Что?! Вам?! Тимочка, не обижайтесь, голубчик, да вам самому гувернантку надо.

И мой отец, знавший Зубова еще в детские годы, безбидно расхохотался.

– Ну а без Лидочки я не поеду, – заявила Маша Ягуби.

– А вас-то пускают самое, Надюша? – обратились к Дине.

– Увы, нет! Без немки нельзя, а немка не хочет ни за что, – чуть не плача говорит Дина.

Наконец, решено было, что «Солнышко» поедет с нами. Для этой цели со дна сундука был извлечен костюм боярина, в котором он когда-то участвовал в одном великосветском спектакле.

К общему восторгу юной компании, удалось заполучить согласие моего отца, который являлся душой всякого общества.

В семь часов вечера с трудом удалось развезти компанию малышей по домам. Некоторые из маленьких гостей устроили концерт в передней.

Наступила и моя очередь веселиться.

Костюм цветочницы, распущенные по плечам локоны и большая благоухающая корзина живых цветов, которые я должна буду продавать у своего киоска одновременно с изящными вещицами туалета. Черная полумаска делает меня совершенно неузнаваемой, и только по высокой хрупкой фигурке можно узнать в нарядной цветочнице Лиду Воронскую.

Я вхожу в залу ратуши как раз в ту минуту, когда духовой оркестр играет туш, и торговля на базаре уже началась.

– Лидочка, я вас сразу узнала. Спешите к вашему киоску, скорей, скорей!

И хорошенький подвижной чертенок в бархатной полумаске хватает меня за руку.

– Дина! – со смехом вырывается у меня.

– Тссс! Не смей открывать моей тайны! – шепчет чертенок и грозит мне пальцем. – А впрочем, по моей «тени» каждый узнает меня.

И Дина кивает в сторону долговязой саксонки. Потом наклоняется к моему уху и шепчет лукаво:

– Нет, вы подумайте только: я ей привидением посоветовала нарядиться, а она вздумала обидеться, эта прелесть.

Зала ратуши уже полна самой изысканной публикой. Я мельком окидываю киоски взглядом и с трудом узнаю своих друзей.

Тима Зубов или не он?

В белом, с красными пуговицами наряде, клоун вертится волчком подле Маши Ягуби, одетой цыганкой-гадалщицей.

Баронесса Татя – Коломбина. Ее брат Олег – пестрый арлекин. Невзянский – бандит. Кармен и Соня олицетворяют собою зиму и лето. Три сестрички Петровы верны себе: они изображают трех муз с лирами в руках; у третьей, Риммы, почему-то за плечами крылышки херувима.

Но кто это там в углу?

Боже мой! Да ведь это сам «лесной царек» с всклокоченной зеленой бородою, в одежде из коры березы, с сучковатыми руками в виде древесных же веток, со спутанными зелеными волосами. Вместо пояса у него длинная цепь со четырьмя концами, и на каждом из них прикреплено по маленькому живому неуклюжему медвежонку.

Неужели это он, «лесной царек»? Так вот какова его дань нашему благотворительному делу! Не имея возможности помочь нам работой, он рыскал по лесу, пока не нашел берлогу медведицы, и, может быть, с опасностью для жизни извлек оттуда этих прелестных четырех медвежаток.

Я обожаю зверей и поэтому, предоставив моему помощ-

нику Линскому вести дело продажи у своего киоска, лечу на дальний конец залы, где на соломенных подстилках у ног «лесного царька» лежат четыре милых зверька.

– Борис Львович, что за великолепная идея пришла вам в голову!

Он вздрагивает и дергает цепь, заставив мишуков поднять головенки и испуганно оглянуться вокруг.

– Вы?! – Черные молодые глаза с радостью смотрят на меня из-под нависших зеленых бровей лесного деда.

Я долго забавляюсь чудесными зверюшками, потом отхожу к своему киоску.

– За ленивую и нерадивую работу следовало бы штрафовать, – гремит невысокий пилигрим, Володя Медведев.

– О, я невиновна в этом, – декламирую я.

– Хотите, я сейчас на руках пройду от радости. Ведь как торгуем-то! – радуется Вольдемар.

– Нет, а Чермилов-то каков! – смеется Тима. – Просто клоун: четырех медвежат приволок. Каково! Доставал, говорит, за тридцать верст отсюда, едва живой от медведицы ушел.

– Эка невидаль медвежата! Да я вам слона приволоку из Индии для будущего базара, – острит Володя.

– Нет, уж лучше крокодила, – хохочет подоспевшая Дина.

– Ну и крокодила! – великодушно соглашается тот.

Все жители Царского знают цель базара и всячески стараются поддержать ее. Киоски осаждаются. Тима и Вольдемар

зывают к себе, как настоящие торговцы.

– К нам пожалуйста-с. У них не покупайте-с! Ихний товар гнилой, наш первый сорт, самый лучший! Покупали за гривенник – продаем за рубль, без торгу-с!

С непривычки мы, барышни, путаемся, но справляемся вскоре, и дело идет как по маслу, товар менее чем в два часа раскуплен весь.

Раскуплены любителями и четыре косолапых мишки. Чермилов, освобожденный от обязанностей торговца, присоединяется к моему киоску.

– Правда, что вы проникли в логовище зверя и унесли оттуда мишек? – спрашиваю я его.

– Правда.

– Но у вас было, конечно, оружие?

– Да, короткий охотничий нож.

– Как! А ружье?

– Зачем? Я бы мог ранить им нечаянно одного из этих милых зверюшек.

– Но если бы медведица...

Я не доканчиваю. Дыхание замирает у меня в груди.

– Я бы защищался ножом, – отвечает он.

Я смотрю на него новыми глазами. Как он смел, этот тихий, молчаливый человек. Большой Джон и этот...

И, позабыв все в эту минуту, я начинаю рассказывать Борису Чермилову о покойном Джоне. Я вкладываю в свои слова столько чувства и нежности к ушедшему другу, что мой

собеседник проникается особенным вниманием к нему.

– Когда вы к нам придете, я вам покажу его портрет, – заканчиваю я.

– Я приду, – говорит Чермилов.

* * *

– Садитесь же, господа, садитесь. А то не успеем и знакомых объехать. Уже ночь на дворе.

К подъезду ратуши подали огромные, человек на пятнадцать, розвальни, сани – мокшаны.

С хохотом мы размещаемся в них. Вольдемар, точно кормчий, стоит на главном месте и дирижирует руками, как заправский капельмейстер оркестра...

– Господин полковник, вы сюда, на председательское место, – усаживает он «Солнышко», – а дочка рядом. Другого соседа, прелестная цветочница, благоволите сами себе избрать.

– Меня выберите, – шепчет мне Тима.

– Нет, уж если на плутовство дело идет, так меня! – громко кричит Вольдемар, расслышавший его слова.

– А по-моему, узелки тянуть, – предлагает кто-то.

– Борис Львович, пожалуйста к нам. «Лесной царек», к нам! – зову я громко Чермилова.

– Вот тебе раз! А почему бы не меня? – тоном капризного дитяти просит Вольдемар.

И он принимается завывать в голос. Молодой парень-ямщик поворачивает к нему широко осклабившееся лицо.

– Ништо, барченок, не реви. Ступай лезь сюды на козла; ты парень дошлый, сейчас видать, править могишь, – предлагает он юноше.

– Могишь! Могишь! – закивал и зародовался Вольдемар. – А что, дошлый и дохлый, пардон за выражение, не одно и то же будет?

– Нет! Успокойтесь, нет!

Около молоденького, всегда тихого барона Лели группируются три сестрички.

– Ах, мы боимся ездить в мокшанах. На поворотах вывалият вдруг, – пищат они.

– Не бойтесь, на снегу мягко, – утешает их Вольдемар, уже взгромоздившийся на козлы.

– Чур! Господа, уговор дороже денег. Насчет «опрокидосов» из саней я решительно не согласен.

И веселое лицо «Солнышка» выглядывает из-под боярской шапки.

– Нет, нет, господин полковник, вы на нас упадете, мягко будет, – высовывается из-под воротника своей офицерской шинели Тима.

– А Дину-то не пустили! Вот жалость! – волнуется Маша Ягуби.

– Мы ей завтра сочувственный адрес пошлем, – отзывается Вольдемар, а вслед затем взывает диким кучерским вы-

криком:

– Эй, родимые, вывози!

Лошади, испугавшись, сразу берут с места чуть ли не галопом, и тяжелые мокшаны наклоняются вбок.

– Эге, да у вас, юноша, кучерские способности не то чтобы очень, – смеется «Солнышко», в то время как его сильная рука подхватывает меня.

– Это сначала только. Уверяю вас, что больше трех раз мы не вывалимся, – утешает его Медведев.

– Га-га-га! – гогочет ямщик, которому пришлось по сердцу веселый барин, успевший его уже угостить папироской.

– Ай! Ай! Мы не согласны! – пищат барышни, в то время как баронесса Татя спокойно улыбается.

– Володька! Гадкий! Не смей! – горячится Соня.

– Да не бойтесь же...

Мокшаны накрেনяются на другой бок под новый визг и хохот.

– Ну, юноша, еще такой опыт, и вы будете уволены с козел, – поднимает голос «Солнышко». – Я у вас за старшего, в некотором роде начальство, и извольте слушаться. Да-с.

– Только для вас, господин полковник.

И Вольдемар уже серьезно занимается лошадьми.

Звонят колокольчики под дугою. Крепчает декабрьский мороз. Но мне тепло: с одной стороны теплая шуба «Солнышка», с другой – такая же теплая «лесного царька». Черные глаза глядят из-под наклеенных бровей. Тайнами леса и

жутью одинокой человеческой души полон этот взгляд.

* * *

Мокшаны останавливаются перед домом князя Б. Самого князя уже предупредили, что к ним приедут сегодня ряженые. Нас встречают денщики и лакеи, выбежавшие на подъезд.

Впопыхах надеваем маски и входим в залу.

Нас ждали. В столовой стол, уставленный яствами; в зале – хор трубачей и песенников. Позднее, дав нам наслушаться пения и музыки, княгиня садится за рояль, и мы танцуем. Князь же, высокий, красивый старик, подходит к каждому из нас, стараясь узнать, кто мы.

Смех, шутки, догадки.

Узнали только «Солнышко» и баронессу Татю.

Вольдемар же уверяет князя, что он переодетая барышня, и тот верит ему, к общему восторгу.

К нам присоединяется племянник князя, молоденький гу-сар, одетый монахом, и мы уезжаем.

От князя Б. мы поехали к Рагодским. Маша Ягуби, как истая цыганка, гадает всем по ладони. Оказывается, Марья Александровна должна, согласно линиям руки, прожить сто лет, быть прабабушкой и при этом не потерять ни одного зуба; а ее дочь Наташа – выйти замуж за владетельного принца.

Нашумев, мы исчезаем под общий хохот.

Последний визит наш – к купцу-миллионеру И. Но «самого» нынче нет дома, а «сама» ряженных и покойников боится больше всего на свете. Мы слышим еще в прихожей, как она кричит на весь дом:

– Акулина! Домна! Перепетуя! Убери польты с вешалок сейчас! Кто их знает, ряженных-то, из каких они будут! Вон наемни, бают в газетах, такие же ряженные в Питере дочи-ста у купца Митрофанова весь дом обобрали. Польты-то да одежду, какая получше, убери. Да молодцам вели для всякого случая наготове стать у ворот, да...

– Вот так приедец! – не удержался кто-то из нас, и все остальные бросились к мокшанам.

Один «Солнышко» остался успокаивать старуху и в конце концов сбросил маску и откланялся ей.

– Ох, батюшки мои! Что ж это ты раньше-то мне, ваше высокородие, не отлекимендовался? Да я таких гостей дорогих и посадить-то не знаю где... Акуля! Домна! Перепетуя! Тащи все, что дома есть... Чаю, кофею, щеколад, пастилы, орехов, винца. Ахти, срамота какая! – кричала она снова, покрасневшись от волнения.

– Нет уж, покорно вас благодарю за всю честную компанию, матушка; нам домой пора.

– Вот так обласкали! – надрывался Вольдемар на козлах. – За грабителей приняли!

– Тсс! Я прошу слова. – И мой отец поднял руку над головой, призывая всех нас к порядку и вниманию.

– Что? Что такое, Алексей Александрович?

– А то, что, вместо столь неудачного визита, я бы посоветовал вам заехать к Раздольцевым, навестить бедную m-ле Дину, которая, вероятно, тоскует дома, лишенная приятной прогулки.

Милый «Солнышко». Он всегда думал доставить радость другим.

Мне захотелось обвить руками шею дорогого моего отца и шепнуть ему на ухо тихо, чтобы не расслышал никто: «Папа, золото мое! Как я люблю тебя за твою доброту и чуткость! Ведь мы все позабыли в своем собственном эгоистичном веселье о бедной Дине. Ты один захотел и сумел утешить бедного подростка, милый, ласковый, хороший, „Солнышко“ мое».

Но я стеснялась и только крепко сжала руку отца, понявшего и без слов это мое пожатие.

У Раздольцевых мы провели остаток вечера. Пели цыганские песни хором, плясали, играли.

Нечего и говорить, что Дина была в восторге и прыгала, как маленький ребенок, забыв свои почти «взрослые» пятнадцать лет.

* * *

Святочная неделя уже на исходе. Вчера мы встречали Новый год в обществе наших многочисленных знакомых. Сего-

дня «Солнышко» и мама-Нэлли отправились на вечер к князю Б. Звали и меня с собою, но я отказалась.

Я не люблю балов, с громом оркестра и чопорным обществом «большого света». Среди бальной залы я чувствую себя такой маленькой и ничтожной. Да и вообще, вся эта светская суতোлка не по мне. Она отвлекает меня от моего любимого дела, которое совершается тихо-тихо под сенью моей скромной комнатки, неведомое никому.

Я пишу институтские воспоминания. Передо мною чередой проходят знакомые лица: бледная черкешенка, похожая на черную розу, порывистая, экзальтированная княжна Ю. с Кавказа, сгоревшая в три месяца от злейшей чахотки, кроткая Лиза М. и другие – ряд женских силуэтов, которые я заносу на страницы моего дневника. Кто знает, быть может, когда-нибудь они и пригодятся мне для более серьезной работы. Потом пишу стихи. Вероятно, никогда не увидят света эти ничтожные обрывки моей души, но отказаться мечтать над ними нет мужества восторженной девочки.

Сегодня никто не мешал за весь вечер. Гостей не было, и я погружаюсь в мои грезы. Ах, если бы можно было уйти далеко, в какие-нибудь заповедные леса, в глухе зеленые трущобы и, слушая природу, творить образы и песни...

– Недурное желание! – слышу я смех Вари.

– Как, неужели я мечтала вслух?!

– Конечно. И знаешь ли, удивительные проекты! Но что бы ты стала делать зимою, когда вода замерзает, а под снегом

умирают лесные плоды?

– Действительно, – соглашаюсь я. – Пойдем лучше гадать на перекресток, Варя.

Ее брови хмурятся, она поджимает губы и цедит едва-едва:

– Греховное это занятие, противное Богу.

– Ах, Варя, ты совсем монахиней стала.

– А ты не смейся, – сурово говорит она, – каждому свое. Ты мечтаешь сделаться писательницей, а я, глупая, неученая, бездарная, пожалуй, буду монашкой.

– Перестань, милая Варя, я же не хотела тебя обидеть. А по поводу писательства оставь: я ни о чем не мечтаю, ничего не жду. Но, веришь ли, Варя, я не могу жить без большого, захватывающего дела, не могу жить так, как живут наши бабышники из общества. Ах, Варя, ужасно умереть, не принеся пользы никому, – ни пользы, ни счастья, не оставив никакого следа за собою.

– Не говори глупостей. У тебя все впереди, – говорит она глухо, – молодость, здоровье, богатство, всеобщая любовь и талант.

– Талант? Ты говоришь, талант, Варя? – визжу я.

– Тише, сумасшедшая, детей разбудишь.

– Талант! Талант! Талант! – припеваю я, кружась по комнате и раздувая юбки.

Как жаль, однако, что мой талант признается одной только Варей. И никто не знает о нем.

– Пойдем же гадать, «слушать» на улицу, Варюша. Мы узнаем, по крайней мере, есть ли у меня талант или нет.

– Гадать? Ни за что!

– Ну, тогда оставь меня. Я буду гадать одна перед зеркалом.

– Ага! Не бойшься! А если тебе привидится «он»? – И она делает пугающие глаза, говоря это.

– Кто это он, позвольте узнать? – осведомляюсь я насмешливо.

– Да тот, кого ты твоим богоотступным делом собираешься тешить.

– А, monsieur Нечистый! Так бы и говорила. Ничего я не боюсь, Варя. Ты научи меня только, как это гадают перед зеркалом.

– И не подумаю, греховодница. Выдумала тоже.

– Тогда обойдусь и без твоей помощи. Даша! Даша! – кричу я.

Веселая, разбитная горничная стоит передо мною. Варя презрительно фыркает и исчезает.

– Совсем испортились они характером опять за последнее время. А еще в монашки собираются. Куда им, – подмигивает ей вслед Даша.

– Научите, как это гадают перед зеркалом, Даша, – прошу я ее.

– А не боитесь, барышня?

– Ничуть.

– Тогда извольте-с.

* * *

Я сижу перед овальным зеркалом в маленькой гостиной. Против него – другое зеркальце. Две свечи поставлены между ними. Все другие огни потушены.

Я одна. Дети спят. Варя читает в дальней комнатке Эльзы жития святых. Эльза уехала еще с утра в Петербург к своим знакомым. За окнами бушует метелица. Завывает ветер. В зеркале отражается коридор огней. Это мои две свечи, повторенные бесконечное число раз в его гладко отполированной хрустальной поверхности. Ни тени страха во мне – одно любопытство. Вспоминаются институтские годы. Моя подруга Нина Бухарина всегда гадала так в крещенские вечера. Уверяла, что видела один раз Евгения Онегина, другой – инспектрису, третий – черную корову. Посмотрим, что-то увижу я. Мои глаза погружаются снова в отполированную гладь стекла.

Бесконечная световая галерея убегает вдаль, туда, где таинственно приютилась темнота. Мои глаза смотрят теперь остро и напряженно. Мои уши чутко слушают.

Раз. Два. Три...

Это часы в гостиной. Девять...

И снова тишина. Ветер на улице и ветер в трубе.

Постепенно огни свечей сливаются в два горящие факела.

Глазам больно от напряжения, но оторвать взгляд от зеркала я уже не в силах. Время забыто. Окружающая обстановка перестает существовать для меня. Дум уже нет в голове, ни единой.

Что это? В зеркале что-то зашевелилось, задвигалось. Не то какой-то клубок, не то...

Вот оно ближе, ближе...

Онемевшая от долгого созерцания, я вздрагиваю и, не отрываясь ни на минуту, слежу за приближающейся ко мне фигурой. Теперь ясно видно. Это человек. Он приближается в зеркале ко мне, он спешит между рядами свечей по бесконечному коридору.

Вот еще ближе, и еще...

Я вижу сейчас его ясно. Я различаю золотое шитье мундира, широкоплечую фигуру, бледное мрачное лицо, искаженные страданием губы...

Чермилов!

Так вот он, мой суженый! Моя судьба! А я ждала увидеть другое: лавровый венок и венчание славою будущей поэтессы... О!

Я вскакиваю и, забывшись, тушу правую свечу. Но и при одной левой видение не пропадает. Напротив, оно стоит, не двигаясь, передо мною в стекле зеркала во весь рост, реальное, жуткое, близкое к правде, в двух шагах от меня, за моими плечами.

Бледное лицо, мрачные глаза и страдальческие губы. Чер-

ный немигающий взгляд впивается в мое лицо.

Невольный ужас холодит мою кожу. Я протягиваю руку к стеклу, как бы отталкивая, разрушая галлюцинацию. Потом оборачиваюсь и вскрикиваю:

– Борис Львович!

* * *

Передо мною стоит живой, действительный Борис Львович Чермилов, бледный, взволнованный.

– Простите. Я напугал вас. Но ваш лакей сказал, что вы дома с m-lle Варей. И я дерзнул без доклада войти. Ради Бога простите. Будьте снисходительны к страдающему человеку.

Он говорит отрывисто. Лицо его бело, как мел. Рука холодная, почти ледяная, сжимает мою руку.

– Что с вами, голубчик? Несчастье? Да?

Он падает в кресло и беззвучно рыдает.

– Простите. Не могу. Но вы меня поймете... У меня был друг. Это был единственный близкий, понимавший меня человек. И он умер внезапно вчера ночью, далеко отсюда, умер, случайно утонув в проруби реки.

– Как Большой Джон!

– Да, как ваш друг, про которого вы мне рассказывали. Одна судьба. Теперь я одинокий, никому ненужный. Один Мишка у меня, кому еще я дорог. Одно живое существо, которое любит меня, жалеет. Но это же не человек. А люди,

знакомые, те меня не любят, боятся, чуждаются. Я такой нудный, скучный, молчаливый. Я кажусь бессердечным и злым. Но я не таков, клянусь вам. Я только несчастлив. Есть люди на свете, отвергнутые с колыбели мачехой-судьбой. Это па-сынки жизни. В детстве они дикие, непонятно стесняющиеся и озлобленные ребяташки, в отрочестве – всеми обижаемые одинокие подростки, в зрелые годы – враги людей. У нас большая семья, и среди нее я был самым нелюбимым. Я был зол, драчлив, придирчив. Вырос – стал угрюм, замкнут и одинок. Я не люблю людей и их чуждаюсь. Одного Евгения, моего товарища, я не чуждался, и того отняла судьба. Говорят, я приношу несчастье, может быть, потому, что во мне много озлобления и вражды. Я любил до сих пор одну только природу и зверей. Особенно природу. А теперь...

– Вы любили еще и того, умершего, – поправляю я его.

– Да... Нет, пожалуй, я уважал его только и ему верил. Он никогда ничем не оскорблял меня, и его дружба была мне утешением. Но любви я не чувствовал ни к кому, кроме...

Он вдруг замолк, и страдальческое лицо его осветилось светлой улыбкой.

– Кроме?

– Кроме моей воплощенной мечты. Вы помните встречу с «лесным царьком» в глуши леса? Тогда-то лесной, одинокий человек увидел свою мечту, хрупкую девушку со смелым ищущим взглядом, чистую и гордую, так ласково отнесшуюся ко мне. Я долго думал об этой встрече. Потом я увидел ее

в большой светлой зале и понял сразу, что хрупкая, жизнерадостная девушка, то задумчиво-грустная, то детски-оживленная и шаловливая, навсегда вошла в мое сердце и что она одна могла бы быть моим другом. Вы поняли меня?

Я молча кивнула головой. Мои щеки загорелись румянцем.

– И тут мои страдания и тоска удесятерились. Я чувствовал, что между мною и этою девушкою – огромная пропасть. Я – одинокий, нелюбимый, с тяжелым характером, угрюмый – что мог я предложить этому ребенку со светлой детской душой? Сейчас я лишился последнего друга. Евгений умер. Жизнь окончательно побила меня. Какая тоска, одиночество, какая мука!

Он закрыл лицо руками и замер.

Замерла и я.

Жалость ворвалась в мое сердце. Этот печальный, убитый горем, одинокий человек, казалось, вошел в него вместе со жгучим моим сочувствием к нему. Я положила ему на плечо руку и прошептала тихо:

– Я не знаю, что бы я сделала, чтобы вы не были так несчастны.

В одну секунду его залитое слезами лицо повернулось в мою сторону, и странный, робкий, прерывающийся лепет сорвался с его уст:

– Если бы вы могли, если бы захотели, вы бы дали мне новую жизнь, радость и счастье. Вы бы примирили меня с

миром, с людьми.

Тут он на минуту умолк, обеими руками схватил мою руку и добавил:

– Милая, светлая девочка с большой душой, дорогое, любимое, обожаемое дитя, согласились бы вы быть женою скупного, угрюмого, тяжелого человека?

Что-то больно ударило мне в сердце. Могучая волна жалости, сочувствия и глубокой нежности к этому большому ребенку подхватила меня. И та же сила вырвала из груди моей тихое, но твердое:

– Да!

* * *

Как во сне помню, как мы вместе очутились в кабинете «Солнышка», где как раз в то время находилась и мама-Нэлли, как Борис Львович стал просить их дать согласие на наш брак, как в ответ отец горячо прижал меня к своей груди, а мама-Нэлли поцеловала меня в лоб, как они пожимали руку Борису Львовичу и что-то говорили ему, но что именно – того я, взволнованная, не в состоянии была разобрать. «Солнышко» и мама-Нэлли давно догадывались, зачем так часто посещает наш дом этот угрюмый, мрачный человек. Но тем не менее они взволновались.

– Дитя мое, какая же из вас выйдет пара? – возмутился отец, когда я осталась с ним наедине. – Ты воплощенная жиз-

нерадостность, веселость, резвая птичка, а Борис Львович, ведь это действительно воплощение мрака и тоски.

– Это оттого, что он несчастлив, папа, – говорю я серьезно. – Но я сделаю его счастливым. Да. И сама буду счастлива вместе с ним.

– Воля твоя, моя девочка, я меньше всего хочу служить помехой твоему счастью. Но не торопись, по крайней мере. Ведь ты еще ребенок годами. Подожди, узнай его хорошенько и тогда – с Богом, выходи за него.

– Ах, я уже знаю его. Душа его – открытая книга для меня одной. Его не поймут другие, никто, кроме меня, никто, – лепечу я, бросаясь на шею отцу.

Мама-Нэлли тоже долго беседует со мною на ту же тему.

– Ну, отложи хоть до будущего года вашу свадьбу, узнаете как следует друг друга. До осени хотя бы, – просит она.

– До осени! Ни за что на свете! Мы уже решили с Борисом. Да, решили. Борис говорит, что весной у него на хуторе под Черниговом черешни цветут, как в сказочном царстве, и всю ночь поют соловьи. Я никогда не видела Малороссии, мама, и мы туда едем, едем. Ты знаешь край, где все обильем дышит. Где реки льются чище серебра...

* * *

Новая жизнь с этого дня потекла в нашем доме. Везде и всюду только и говорят о том, что я невеста Бориса Львовича.

ча. Павлик стал теперь сдержаннее и чуть-чуть холоднее в отношении ко мне. Я часто слышу, как он спрашивает мать:

– Что же это такое, мамочка? Наша Лида всех нас на одного Чермилова променяла? Разве уж он лучше всех нас?

А карапузик Саша, смешно переваливаясь на своих пухлых ножонках, ковыляет ко мне и, прищурив один глаз, освещается лукаво:

– Ты, Лида, пожалуй, сказки нам перестанешь рассказывать и бегать в пятнашки с нами, когда сделаешься «дамой»?

А за столом синие глазки старшего братишки щурятся при моем появлении:

– Встаньте! Не видите разве – идет невеста!

И все вскакивают со своих мест и вытягиваются передо мною во фронт, как солдаты. По их мнению, невеста – это почетная должность, вроде командира полка или начальника города.

Варя дуется на меня и часто шипит надо мною, когда я лежу в постели:

– Нечего сказать, убила бобра! И нашла же ты себе жениха! Да он тебя своей тоской да молчанием в могилу вгонит! Не приведи Бог!

– Он хороший, добрый, Варя, – утешаю я девушку.

– Что-то доброты его я не видела. Сидит, молчит да глядит, как сыч, только и доброты у него.

– Нет, он добрый, по глазам видно, – поддерживает меня Эльза и крепко обнимает меня.

Борис Львович приходит теперь ежедневно и целые вечера просиживает у нас. И я вижу, как тает угрюмая туча на его лице, и светлое, простодушное выражение заменяет недавнюю мрачность. Его лицо делается таким счастливым, когда я подле него.

Нет, нет, я не раскаиваюсь, что дала ему это счастье.

* * *

В конце января – наша свадьба.

Смутно, словно в тумане, переживаю я этот день. Что-то пестрое, шумное, полное блеска, огней и приветствий, какой-то сумбурный сон.

Меня одевают Эльза, Варя, приехавшие сверстницы, подруги.

Твердо соблюдается обычай. Старший братишка обувает ноги, не забывая вложить золотые монеты в маленькие туфельки, – это чтобы быть богатой, как поясняет мама-Нэлли. Потом мама-Нэлли и «Солнышко» благословляют в гостиной посреди большого ковра. В глазах обоих слезы. Милые, не плачьте!

А у самой стучит сердце, и глаза становятся мокрыми.

Прощаясь с сестренкой, не могу успокоить ее. Ниночка плачет и кричит неистово.

Но вот появляется Тима, шафер жениха, с букетом белых роз от Бориса и объявляет, что жених уже ждет в церкви. В

передней, пока меня укутывают в ротонду, я бросаю мимо-
летный взгляд в зеркало: хрупкая девичья фигурка, тонкая,
прямая; венчальный костюм и фата невесты, а под белыми
цветами флердоранжа – совсем детское лицо.

Вот так «дама»!

Отвешиваю себе низкий реверанс, состраиваю гримасу,
чтобы развеселить своих, и, путаясь в шлейфе, спешу на
подъезд.

* * *

Полковая церковь. Хор певчих. Толпа приглашенных и
густо чернеющие мундиры выстроенных шпалерами солдат,
пожелавших присутствовать на свадьбе их молодого пору-
чика. Еще толпа, еще блестящие мундиры и дамские туалеты.
Испуганное личико младшего братишки, несшего образ
впереди нас, меня и «Солнышка», подводившего меня к ана-
лою, – все это смешалось и отступило назад при виде свет-
лой улыбки счастливого человека, сиявшей мне теперь с се-
редины церкви: улыбки моего жениха. И под ее ободряющим
светом, опираясь на руку отца, я подошла к аналою и встала
подле Бориса – и обряд начался.

Часть третья

Ненастная осень. Нудно стучат холодные капли о мокрую крышу двухэтажного длинного здания. Огоньки фонарей отражаются в огромных лужах. Там, подалее, высятся другие нескладные здания. Это казармы. За казармами бесконечно широкое поле, в конце его кладбище.

В девять часов играет труба горниста. Затем вечерняя перекличка, и глухо доносится сквозь мокрые от дождя оконные рамы стройное и дружное пение солдатского хора, поющего вечернюю молитву. Потом все стихает, и только шаги дневального нарушают тишину.

Желтое здание – это офицерские квартиры, где живут семь стрелков. Впрочем, не для всякого человека желтое здание – семейный дом. Есть одна душа в этом доме, которая самым настойчивым образом считает желтое здание старинным средневековым замком. Старинный замок оторван от всего прочего мира. Он построен на острове, среди кипучих волн большого озера. И не весь офицерский дом, собственно говоря, представляет собой замок, а одна только крайняя из его квартир: три просторные высокие комнаты с окнами во всю стену, с мягкими коврами и массой зимних растений в кадках и горшках. Винтовая узкая лесенка ведет вниз, в просторную кухню, в ванную и в две комнаты прислуги. Большие горницы с высокими потолками, и винтовая лест-

ница, ведущая на башню, и большущие окна, выходящие на пустырь, – все это целый особенный мир. Большой пустырь – озеро, а солдаты – вассалы, оруженосцы и просто воины того владетельного герцога, которому служит рыцарь Трумвиль, такой бледный и молчаливый, такой сумрачный и хмурый, несмотря на свои двадцать пять лет.

Впрочем, это только игра.

Рыцарь Трумвиль – Борис Чермилов, или просто Боря, мой муж. Я его жена – тоненькая Брандегильда. Наша квартира – замок на островке, посреди большого озера, вода которого отделяет нас от целого мира. Редко перебрасывается подъемный мост на ту сторону озера, редко сообщается замок Трумвиль с остальным миром. Но мы не скучаем. Мы не одни. С нами наш друг четвероногий, в мохнатой шубе, умный, верный и преданный Мишук, который живет в пристройке на дворе, но проводит большую часть времени в комнатах. Еще с нами Галка. Это не птица, о нет! Это двуногий, но, безусловно, тоже друг. У него длинное худое тело, – белая рубаша висит на нем как на вешалке – и унылое лицо с повисшими усами. Ему двадцать два года, а выглядит он на все сорок, а то и больше порой.

Это и есть Галка, денщик, или, вернее, оруженосец рыцаря Трумвиля. Он всем в мире говорит «ваше высокоблагородие» и обо всех отзывается «их высокоблагородие», даже о Мишке. Это комический элемент замка Трумвиль, денщик Галка.

Внизу живет служанка. Ее зовут Дарья, но для замка Трумвиль это имя непоэтично, и потому мы переименовали ее в Доротею. Поодаль поместился кучер, солдат Корнелий. В конюшне две лошади, бывшие наши верховые, Бегун и Красавчик. Летом в черниговских степях мы скакали на них верхом как безумные.

Что за дивное лето провели рыцарь Трумвиль и его Брандегильда! Синие васильки, стыдливо выглядывающие из ржи, черешневая роща и цветущие короны царственных подсолнухов. И голубое небо вверху. Царство покоя, неги. Маленький белый хутор, цветущие белые яблони и черешни и ночные трели соловьев, бешеная скачка по степи, с седлами и без седел, на горячих конях по меже среди золотых полей, испещренных синими звездами васильков. Вот это я понимаю! А по вечерам длинные хороводы за околицей, и темный ласковый взор чернобровой Оксаны, и песня, сладкая, дивная песня прекрасной украинской земли.

Зачем оно минуло так быстро, это дивное лето, от которого остались теперь только золотые нити воспоминаний да прибавился ворох стихов, пламенно горячих, в честь красавицы Украины.

* * *

Глуше звучат под вечер шаги дневального на подъезде, и капли, негодные однотонные капли дождя, постукивающие

о крышу здания, способны кому угодно вымотать душу.

В гостиной пылает камин. Перед камином разостлана белая шкура пушистой тибетской козы. На белом меху белая же Брандегильда, то есть я, своей собственной персоной, в каком-то фантастическом капотике из легкого белоснежного шелка, похожем на средневековое домашнее платье королев, с откидными рукавами, спадающими до пола. И густые непокорные волосы небрежно связаны тяжелым снопом за спиною. Рыцарь Трумвиль в офицерской тужурке, с золотыми пуговицами. Но это ровно ничего не значит. При чем тут внешний вид и фасон одежды? Он все-таки рыцарь Трумвиль, этот бледный Боря, и только что вернулся с охоты. На кухне замка верная Доротея ошипывает убитую им только что дичь. А сам он греется у огня.

– Ужасная погода! – говорит он, хмуря брови. – И иззяб я ужасно. Завтра, если не будет так сыро, Котик, поедem верхом.

– Тссс! Какой же я Котик, когда я Брандегильда? Вот ты всегда спугнешь настроение, испортишь игру. Вот опять, видишь, настраиваться надо, – говорю я недовольно.

– Ну-ну, не буду. Не буду, детка.

И рыцарь Трумвиль очень галантно целует мою тоненькую руку.

– Фрррр! – слышится в соседней комнате, и чьи-то тяжелые шаги приближаются к нам.

– Мишук! Тебя только и недоставало.

Я охватываю милую черную кудлатую голову совсем уже выросшего Мишки и валю его на ковер. Это для него огромная неожиданность. Он силен, как бык, но неловок удивительно, как и подобает быть неловким косолапому Мишке. Но сейчас он ничуть не обижен за такое бесцеремонное с ним обращение, лежит у моих ног, трется головой о белый серебристый шелк платья и довольно урчит:

– Фрр!

– Рыцарь Трумвиль, – обращаюсь я к моему собеседнику, – что вы видели сегодня на охоте в лесу?

– Я видел, Брандегильда...

Тут начинается полный захватывающего интереса рассказ о плачущих, заколдованных осенью деревьях, о сентябрьском жутком плене, о пении ветра и вечерних криках птиц.

Мой муж – талантливый импровизатор, и говорить он умеет красиво, как поэт. Меня захватывает его фантастическая сказка, я хватаю карандаш, бумагу и перекладываю ее на стихи.

А камин пылает. И слышатся шаги дневального на крыльце, и звучит так сладко сонное всхлипывание Мишки. Может быть, потому комнатному пленнику в роскошной шубе снятся родной лес и родное логовище. Я тихо глажу его теплую шубу и смотрю на мужа.

От обычной мрачности в его лице нет и следа.

Складка между бровей исчезла. Черные глаза сияют. Сверкают в улыбке белые, как сахар, зубы.

Неужели тоненькая Брандегильда сделала счастливым рыцаря Трумвиля навсегда, маленькая девочка Брандегильда с ее фантазиями и сказками, с ее бестолковой, мечущейся в грезах душой?

– Вы счастливы, рыцарь Трумвиль, скажите?

– Когда с тобою, вдвоем с тобою, без людей, вдали от них, – слышится ответ.

Нет, я с ним не согласна. Я люблю людей, как сестер и братьев. Люблю их речи, беседы и смех. Люблю обмениваться с ними мнениями, спорить о литературе и искусстве. Это – жизнь. Жизнь такая же, как бег на лыжах или по льду, или бешеная скачка на Красавчике по степным дорогам Украины. А камин и тихий вечер в замке и тоненькая Брандегильда с медвежьей головой на коленях – это только сказка.

– Скажите, рыцарь Трумвиль, могут ли быть сказки на земле?

Он не успевает ответить. Верный оруженосец появляется на пороге.

– Что тебе, Галка? – быстро осведомляется муж.

– Так что, ваше высокоблагородие, – говорит он, – насчет птицы, что вы убили. Дуралея эта...

– Какая Дуралея? – хмурится рыцарь Трумвиль.

– Ну, Дуралея, Даша, куфарка, – роняет Галка тем же унылым тоном.

– Ах ты! – возмущаюсь я. – Не Даша, а Доротея. Понял? До-ро-те-я!

– Так точно, понял. Дуралея, – подтверждает он.

– Тьфу! Так что же птица?

– Птица-то на самом деле вовсе не птица, ваше высокоблагородие.

– Как не птица? – срывается в один голос у меня с мужем.

– Не могу знать, а только не птица. По всему видать...

– Так что же?

– Ворона, – получается такой же скорбный ответ. – Не могу знать, а только, значит, ворона.

– Так, стало быть, я по-твоему, в темноте принял ворону за дикую утку и убил ее? – начинает горячиться рыцарь Трумвиль, и гневные искорки загораются в его глазах.

– Не могу знать.

Я не в силах больше удержаться, валюсь на мех тибетской козы и громко хохочу, разбудив моим смехом сонного Мишку.

– Фррр! – вторит он мне, выражая не то свое неудовольствие, не то сочувствие.

Рыцарь Трумвиль негодует. Он – прекрасный, всеми признанный охотник – никак, даже в темноте, не мог принять ворону за дикую утку. Чтобы восстановить свою репутацию, он кратко приказывает Галке:

– Принеси сюда дичь, я погляжу.

– Слушаю-с, ваше высокоблагородие.

Галка делает поворот назад, щелкает каблуками и исчезает за дверью. И вдруг снова просовывает в щель свое унылое,

до невероятия спокойное лицо.

– Так что оно, ваше высокоблагородие, никак это невозможно.

Что невозможно? – теряя терпение, вскидывает на него грозными глазами муж.

– Так что с духом они. Никак, то есть, в чистые комнаты их благородия доставить невозможно.

– Кого?

– Ворону, значит.

– Ха-ха-ха!

Мы уже не слушаем его и несемся взапуски по винтовой лестнице в «подполье замка», то есть в кухню. Там у стола Даша, то есть Доротея, потрошит огромного дикого селезня, принятого Галкой за ворону. От него пахнет дичью, болотом и лесом.

– Вот так ворона! – смеется своим глуховатым смехом рыцарь Трумвиль.

– Ха-ха-ха! – заливается, вторя ему, Брандегильда.

* * *

Звонок. Гости. Мы взглядываем друг на друга. Рыцарь Трумвиль, только час тому назад вернувшийся с охоты, очень устал. Ему так приятно посидеть на мехе тибетской козы в обществе Брандегильды у пылающего камина и вести бесконечную игру в «замок Трумвиль». А со словом «гости»

сопряжено известное напряжение, чинное сидение на диване, ярко освещенная гостиная и скучные беседы обо всем «всамделишном», таком далеком от грез, так хитро сплетенными двадцатипятилетним фантазером-мужем и его мечтательной восемнадцатилетней девочкой-женой.

– Не надо гостей, не надо! – шепчу я. – Галка, Галка! Если папа и мама или дети с Эльзой и Варей, прими, конечно; да поручика Зубова, да господ Рогодских, – это свои, а для других нет дома. Понял? – шепчу я, вытягивая шею снизу лестницы, в то время как наверху Галка внимательно ловит каждое мое слово, перегнув через перила свое тонкое длинное туловище.

– Так точно, понял, ваше высокоблагородие. Слушаюсь, – долетает до меня сверху, и он мчится в переднюю, гремя сапогами и грозя разрушить своей несуразной особой и замок, и лестницу, и весь мир.

А звонок все звенит, заливаясь в передней. Мы, притаившись внизу, слушаем, как щелкает ключ входной двери.

– Господа дома? – доносится до нас знакомый голос.

Ага! Это Невзянский.

– Оба дома, прекрасно, – вторит другой.

Это Линского голос. Потом короткая пауза, и веселый Тимочкин голос звенит на весь «замок»:

– Здорово, Галка!

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие, – отбарабанивает тот.

Затем прибавляет что-то.

Пауза.

И снова щелкает ключ в замке. Какие-то возгласы протеста. Чей-то смех, обидчивый, но веселый. И тоненькая фигурка Тимочки Зубова появляется на верху лестницы перед нами.

– Ха-ха-ха! – заливается Зубов. – Нет, друзья мои, ваш Галка – одно великолепие! Вы подумайте: он и Линского, и Невзянского выпроводил сейчас!

– Как выпроводил? А вас-то ведь принял? – недоумевающе роняют мои губы.

– А вот как выпроводил: «Дома-то, – говорит, – господа дома, да, говорит, никого не велено принимать, акромья папы да мамы, да братцев, да сестрицы с губернаршами, да подпоручика Зубова, да господ Рогодских. А вас, ваше благородие, так что нельзя». Нет, видали вы такой экземпляр?! А!

– Зарезал! Без ножа зарезал! – кричит мой муж, внезапно превращаясь из владетельного рыцаря Трумвиля в поручика Чермилова.

– Вернуть их! Вернуть! Сию же минуту!

И он несется по лестнице, сбив по пути с ног подвернувшегося ему совсем уже несвоевременно Мишку.

– О, какой ты глупый, Галка, какой ты глупый! – говорю я с искренним сокрушением, раскачивая из стороны в сторону головой.

– Так точно! – уныло соглашается невозмутимый Галка.

– А мы-то ведь пришли к вам поговорить об устройстве задуманного нами спектакля, – роняет он, – и вдруг такой прием. Ха-ха-ха! Прелесть Галка! И откуда Борис выкопал чудовище этакое?

Я в отчаянии и волнуюсь ужасно. О, глупый Галка! Никогда никакой порядочный оруженосец не выйдет из тебя.

К счастью, Невзянскому и Линскому удалось объяснить причину недоразумения, и мой муж привел обоих к нам, извинившись за своего оруженосца.

За чайным столом много говорилось о предстоящем спектакле, в котором нас уговаривали выступить. Спектакль – это что-то новое и забавное. Я с восторгом даю свое согласие, но рыцарь Трумвиль молчит.

– Ах, пожалуйста, играй, – молю я его глазами. Он колеблется.

– Со мною в одной пьесе.

– Ах, если так.

Он согласен.

– Ура! Согласен! – кричит Тимочка на весь «замок». – Хорошо жить на свете, Галка? А?

– Так точно, ваше высокоблагородие! – соглашается тот без колебания, вытягиваясь в струнку.

– Особенно когда господа дома и принимают, – шутливо язвит Линский.

– И поят чаем с вареньем, – вторит Невзянский.

Я невольно опускаю голову и краснею до ушей сквозь

улыбку. Нет, никогда не надо лукавить даже в пустяках. Запишем это раз навсегда на скрижалях моей жизни во избежание подобных же недоразумений впереди.

* * *

На улице те же ненастные нудные осенние дни, зато в «замке» суета, к крайнему неудовольствию Мишки, который не выносит никаких новшеств и любит «тихое положение» – лежать в сладкой дремоте перед тлеющим камином. Тогда он грезит о родном лесе и сладко урчит. За этот год он вырос в большого настоящего медведя, и от него прячут мясо, один вид которого может разбудить в нем дикие наклонности хищного зверя. Рыцарь Трумвиль отдал приказание держать его внизу, в сарайчике, и реже пускать в комнаты. «Не дай Бог, случится что-либо, – говорит он часто, выпроваживая нашего четвероногого друга за дверь всякий раз, когда милая лохматая голова просовывается в комнату. – Еще с полбеды, если случится при мне, но если Котик будет один – как он справится с озверевшим хищником?»

– Мишка – озверевший хищник? Ха-ха-ха! Милый, тихий, сладко урчащий Мишук.

Эта мысль кажется мне нелепой, и Брандегильда смеется беспечным детским смехом.

А в «замке» все та же суета, сутолока и волнение. Предстоящий спектакль перевернул весь строй жизни тоненькой

Брандегильды. Теперь я с утра до вечера хожу по комнатам и учу роль, роль молоденькой вдовы в грациозной, изящной салонной пьеске «Из-за мышонка». В ней говорится о двух молодых людях, боящихся мышей. Эти молодые люди нравятся друг другу и желают соединиться брачными узами, но переговорить по этому поводу они никак не могут: страшная мышь мешает этому. Забавная пьеска, вызывающая непрерывный хохот публики, очень нравится мне. Я играю молоденькую вдову. С первых же слов я чувствую, что смогу сыграть порученную мне роль, я, не игравшая ничего в моей жизни. Надо быть только самой собою, не Брандегильдой из замка Трумвиль, конечно, а задорной, веселой Лидой Воронской, то есть, вернее, Чермиловой (никак не могу за эти семь месяцев привыкнуть к моей новой фамилии), скакать и прыгать по диванам, визжать больше от смеха, нежели от страха, шалить и дурачиться на славу. Во всех отношениях прекрасная роль. Но рыцарь Трумвиль отнюдь не разделяет моего восторга.

– Ничего у меня не выходит, – с отчаянием вырывается у него, и он далеко отбрасывает тетрадку со своей ролью. – Во-первых, глупые слова, во-вторых, глупое положение. Я один на один выйду на медведя, а тут, здравствуйте: мышей бояться надо. В-третьих, как я им всем «штафиркой» покажусь? Да я фрака в жизни моей не напяливал ни разу!

– Конечно, мой милый, рыцарские доспехи вам больше к лицу, – соглашаюсь я.

– Ага! Ты смеешься!

Тетрадка с ролью летит куда-то в угол, и рыцарь Трумвиль мчится за Брандегильдой кругом обеденного стола.

– Ваше высокородие, на лепертицию пожалуйста. Господа все собравшись, – замирая на пороге, рапортует Галка.

– А, на лепертицию! Ладно!

Подбираем тетради с ролями и спешим через теплый коридор в офицерское собрание, находящееся под одной крышей с «замком Трумвиль».

В главной зале собрания – кавардак. Наскоро сколоченные подмостки сцены пахнут свежим деревом и лаком. Тимочка, Невзянский и офицер-художник Рудольф пишут декорации, безжалостно продушив краской все шесть комнат собрания.

Кроме того, Невзянский – режиссер, а Тимочка – сценарист и его помощник. Оба успели накричаться до хрипоты и на плотников, и на столяров, и на актеров и теперь выдавливают из себя слова зловещим шепотом.

Первая пьеса в три акта налаживается быстро. Самую смешную и видную роль кухарки поручают Маше Ягуби, которая играла не раз в предыдущих спектаклях и считается «почти настоящей актрисой». Баронесса Татя играет небольшую роль светской барышни, две молоденькие жены офицеров – двух шаловливых барышень-проказниц, приехавших домой на летние каникулы, Тимочка – старика-майора, Линский – молодого офицера и режиссер Невзянский – коми-

ка-доктора.

Первая пьеса пройдет прекрасно, это несомненно: все люди бывалые, игравшие, и все это заранее знают. И Тимочка забавен, и Невзянский, а Маша Ягуби – та просто один вос-торг, точно она родилась, чтобы быть актрисой. Но зато вто-рая...

Ах!

Я знаю роль назубок, как говорится, но стесняюсь шуметь, прыгать, кричать, хохотать и визжать на сцене. Мямлю слова и двигаюсь как связанная, вспыхивая до ушей от каждого слова режиссера.

Но я еще с полбеды, тогда как Борис, рыцарь Трумвиль, оказывается никуда негодным актером.

– Шут знает, что такое! Провалите вы «Из-за мышонка»! Ах! – возмущается, негодует и волнуется Невзянский. – Да что ты, Борис, радость моя, не видел разве, как волнуются другие люди? – пристает он к злополучному Борису, который говорит по ходу роли слова: «Сударыня, я пришел просить вашей руки».

– Не годится! Никуда не годится! – искренно сокрушается Тимочка и вдруг отчего-то спохватывается и выпучивает на меня с отчаянием остановившиеся глаза.

– Батюшки мои! А где же лакеус? Откуда мы возьмем лакеуса? В пьесе выходит лакей и говорит: «Владимир Александрович Карский». Кто согласится играть такую крохотную, незначительную роль?

Никто не соглашается, конечно. Не стоит гримировать лицо и переодеваться из-за одной фразы доклада. Это скучно. И офицеры, и их родственники, и знакомые не согласны на такую жертву. А без лакея играть невозможно, никак нельзя. Кому же, однако, сказать эти три слова?

Ба! Счастливая мысль приходит мне в голову. Ура! Лакей есть!

– Мы нарядим Галку и научим его доложить, – говорю я.

Но «режиссер» и его «помощник» выражают некоторое опасение.

– Как бы он не испортил нам дела.

– Ну, уж не бойтесь, я это беру на себя, – отвечаю я.

– Ну, если так – пожалуй.

Звать Галку на репетицию нельзя: у него и так много работы дома. Он занят целый день в «замке» уборкой комнат, ходьбою с поручениями, подаванием обеда, ужина, – словом, работы у него немало. И я поэтому решаюсь заняться с ним его ролью дома.

– Галка, – зову я его вечером после чая, – иди сюда.

Он останавливается у порога в пролете двери и замирает как вкопанный.

– Чего изволите, ваше высокородие?

– Галка, кто это?

И я указываю ему пальцем по направлению рыцаря Трумвиля, читающего с тетрадки роль в соседней комнате.

– Так что, его высокородие поручик Чермилов, – отвечаю.

ет он, еще больше вытягиваясь в струнку и опуская руки по швам.

– Нет, – говорю я с отрицательным жестом, – это не поручик Чермилов. Нет, Галка.

На лице у него появляется выражение самого красноречивого удивления.

– Это Владимир Александрович Карский, – доканчиваю я, глядя в его растерянное лицо.

– Так точно! – соглашается он с тем же оторопелым видом.

– Повтори.

– Так точно!

– Не «так точно» повтори, а скажи: Владимир Александрович Карский.

– Так точно, Владимир Лександрович...

– Без «так точно».

– Без так точно, – уныло вторит он мне.

Я начинаю приходить в отчаяние. Пробую сначала.

После получаса усиленного вдалбливания фразы в плохо уясняющую себе роль голову Галки (при чем Владимир Александрович Карский постоянно варьирует то на Владимира Лександровича Кникина, то на нечто совершенно в ином роде), я отпускаю наконец душу несчастного Галки с миром.

Весь потный от старания услужить «ея высокородию-барыне» (которую и он, и Корнелий, и кухонная «Доротея» очень любят, в то время как рыцаря Трумвиля страшно бо-

ятся почему-то), Галка идет накрывать к ужину стол.

* * *

Вечер спектакля. Большая белая, под мрамор, зала собрания сверкает сотнями огней. Зажжены огромная хрустальная люстра и все многочисленные электрические рожки по стенам. В комнатах носятся волны какого-то ароматного курения. Сцена отделена тяжелым занавесом от большей половины громадной залы, в которой пустуют пока сотни кресел и стульев в ожидании публики. Спектакль назначен ровно в девять, и к этому времени начинают съезжаться приглашенные.

Забравшись чуть ли не с семи часов в крошечную уборную, я тщательно, как настоящая актриса, гримирую себе лицо, то есть накладываю на него поверх кольдкрема и пудры легкий слой румян, черню брови и веки и алой губной помадой мажу губы. Белокурый парик с пышной прической, новое лиловое «настоящее» дамское платье с длинным шлейфом, а главное – измененное благодаря гриму лицо делают неузнаваемой скромную Брандегильду.

Я улыбаюсь себе в зеркало, делаю сладкое лицо и низко, почтительно приседаю перед собственным отражением. Потом внимательно прислушиваюсь к тому, что происходит по ту сторону тяжелого занавеса, в зрительном зале. Слышу сдержанный говор, всплески смеха, шум отодвигаемых сту-

льев. Наконец хор трубачей покрывает все предыдущие звуки, служа прелюдией к началу спектакля. Сейчас, вслед за этим должен раздвинуться тяжелый занавес – и первая пьеса с ее исполнителями предстанет на суд снисходительной публики.

Я еще раз окидываю взглядом свой туалет, не переставая шептать слова роли, и хочу уже выйти из крохотной комнатки за кулисы, чтобы оттуда слушать пьесу, как неожиданно со мною на пороге сталкивается какой-то белокурый господин.

Боже, до чего платье и грим меняют человека! Я не узнаю рыцаря Трумвиля, положительно не узнаю. Штатское платье сидит на нем мешковато; рыжеватый парик плохо покрывает голову; приклеенная золотистая бородка меняет общий вид его лица, сумрачного и угрюмого. Брови и усы, напудренные золотистой пудрой, имеют очень странный вид.

– Хотел играть блондином, чтобы не сразу узнали. Не так совестно осрамиться, – говорит он. – Ну, как ты находишь?

– Нахожу, что отлично, – улыбаюсь я. – Только вот что: я тебе подправлю гримировку.

– Ну! И разве ты умеешь, Котик?

– Молчите, рыцарь Трумвиль, и повинуйтесь вашей Брандегильде.

Я усаживаю его перед зеркалом и приступаю к работе: несколько штрихов синей краски под глазами, несколько черточек тушью вокруг ресниц, немного розовой пасты на

щеки и румян на губы – и рыцарь Трумвиль превращается в самого очаровательного красавца в мире.

Оба мы смотрим в зеркало сосредоточенными глазами.

– Ну что? Хорош? – восторгаюсь я.

– Ннда... Не то жулик, не то рыцарь из карманщиков...

– Уж ты скажешь! А по-моему, прелестно!

Нас прерывает Тимочка, пулей влетевший в уборную.

– Лаку, ради Бога, лаку для наклейки. Скандал этакий вышел. Ус отвалился в самой патетической сцене. А злодейка Марья Яковлевна еще прибавила – играет, говорит свое, а потом, как увидела, прыснула в руку и вставила: «Что ж это ты, барин, ус-то, видно, себе на свечке опалил». Публика хохочет, а я так и замер. Ужас, подвела как! Скандал!

– Ты вот что скажи лучше, – вставляет рыцарь Трумвиль с озабоченным видом. – Галка-то приготовлен как следует?

– Успокойтесь, готов Галка. Вот только, как следует играйте сами, а он выглядит молодцом.

– Рады стараться, ваше высокородие, – рапортую я, приложив правую ладонь к виску и вытягиваясь в струнку по-солдатски.

Но Тимочке нынче не до смеха. Он наскоро приклеивает лаком ус и мчится обратно на сцену. Вскоре оттуда звучит деланным старческим басом его полудетский голос. А звонкий бойкий голос Маши Ягуби, под непрерывный смех публики, подает ему реплики.

В кулисах мелькает довольное лицо Невзянского. Слава

Богу, спектакль идет гладко, и «режиссер» доволен.

* * *

Эффектно и забавно заканчивается первая пьеса. Три акта ее прошли без сучка и задоринка, если не считать отклеившегося уса и уроненной Тимочкою с ноги посреди сцены ночной туфли. Но все это вздор в сравнении с умопомрачительной игрой Маши Ягуби, удивительной выдержкой Тати и ни с чем несравнимым комизмом Невзянского, лучшего «актера» из всех.

Все они были награждены по заслугам горячими аплодисментами.

Наскоро доморощенные плотники из Тимочкиной роты меняют самодельные декорации и переставляют мебель.

Я пользуюсь общей суматохой и, подойдя к занавесу, приставляю глаз к маленькой дырочке, просверленной в нем. Оттуда мне прекрасно видна вся зала. В первом ряду кресел, подле четы Рогодских, вижу моего «Солнышко» в его пушистых парадных эполетах, а подле него – маму-Нэлли в черном кружевном платье. Милая, и она приехала посмотреть на меня!

У нас дома большая новость. В детском отделении квартиры прибавилась одна маленькая кроватка-колыбель: у мамы-Нэлли и «Солнышка» вскоре после моей свадьбы родилась еще одна маленькая дочка, синеглазая, темноволосая

Наташа. Это радостное известие принесла нам экстренная депеша среди знойного лета на простор украинских степей. Прелестная девочка – живая игрушка всей семьи. И когда я смотрю на это очаровательное личико, у меня складывается твердое убеждение: как было бы хорошо, если бы и в замке Трумовиль появилась такая же синеокая и темнокудрая крошка. Я бы научила ее любить людей, скакать верхом и бегать на коньках и на лыжах. И сейчас, глядя на улыбающуюся, счастливую и довольную маму-Нэлли, разговаривающую с Рогодским, я невольно задумываюсь о том же.

Неожиданный звонок за кулисами прерывает мои мечты.

– Как, неужели нам начинать сейчас? – спрашиваю я, вздрагивая.

– Очистите сцену! – вместо ответа кричит грозным голосом Невзянский.

Подобрав шлейф, я бегу за кулисы, в то время как сердце мое стучит, стучит, не переставая, а руки в один миг становятся холодными, как лед. Дрожь страха подползает к самому сердцу. Ноги делаются свинцовыми, и я волнуюсь как никогда.

* * *

Хор трубачей медленно стихает, и с легким шуршанием раздвигается занавес.

– Выходите, – шипит мне Тимочка, но откуда – я уже не

вижу, не разбираю. Вообще ничего не понимаю сейчас, кроме того, что я, тоненькая, высокая, в пышном белокуром парике женщина, уже не Лида-Брандегильда, она же Котик и «детка», а героиня пьесы – самая заурядная светская барынька, ужасная трусиха при этом, до смешного боящаяся мышей.

И странно: я чувствую себя именно таковой сию минуту: я боюсь до безумия мышей и холодею при одной мысли о мышонке, разгуливавшем по моей квартире. И с криком «Затворите двери! Там мышь!» бледнея даже под моими румянами, я выбегаю на сцену.

Тут уже Брандегильда-Лида окончательно перестает существовать, а Марья Александровна, молоденькая трусливая вдовушка, знакомит публику с ходом пьесы.

Как я говорю, двигаюсь, смеюсь – решительно не отдаю себе отчета. Мой голос звучит уверенно, твердо. Мой смех весел и искренен. Движения мои свободны, точно крылья выросли у меня за спиною. И я говорю, говорю без умолку, непринужденно смеюсь или пугливо вскрикивая и озираясь.

В публике одобрительный шепот. Десятки биноклей направлены на меня. Улыбается «Солнышко» из первого ряда. Вижу все как во сне. И Невзьянского вижу в просвете кулис. Стоит, одобрительно кивает головою и аплодирует беззвучно, подняв руки выше головы.

И вдруг смех раздается в зале. А у меня, как нарочно, грустное место, где я по ходу пьесы говорю о покойном муже.

Оглядываюсь назад. Боже! Галка! Но в каком виде! Где они достали этот несчастный фрак, который доходит ему до половины фигуры, с рукавами чуть ли не да локтей только, откуда торчат его красные неуклюжие руки с беспомощно растопыренными пальцами. К довершению ужаса, фрак трещит на спине, вот-вот того и жди, сейчас лопнет. А его лицо! Что они сделали с его лицом! Или он так вспотел от неудобства своего чересчур узкого платья и от непривычного выхода в качестве актера? Но вместо лица у него какие-то кляксы, красные и черные, с присоединенными к ним полосами, наподобие полос шкуры зебры. Совсем татуированный индеец, да и только. Невозможно без хохота смотреть на эту изуродованную фигуру, на это измазанное, комическое лицо.

Я гляжу на него, закусив губы, и жду доклада о приходе молодого господина – тех трех слов, над которыми я так добросовестно билась с злосчастным Галкой.

Под моим взглядом он вытягивается в струнку, прижимает растопыренные пальцы к бокам и громким голосом, совсем по-солдатски, рапортует:

– Так что их высокородие пожаловали, поручик Ермилов.

И, сделав поворот налево кругом, направляется равномерным шагом к двери, ужасно стуча ногами грозя сокрушить и подмости, и кулисы, и самую дверь. Затем, точно спохватившись и как бы вспомнив что-то, возвращается тем же солдатским маршем назад и заявляет громогласно:

– Виноват, барыня. Владимир Ляксандрович Каша пожа-

ловали.

И снова исчезает со своим невозмутимым видом под оглушительный хохот публики.

В первую минуту мне кажется, что все пропало. И меня тянет убежать за кулисы, где Невзянский шипящим шепотом ругает Галку.

Но это желание мое минутно. Смех по ту сторону рампы понемногу смолкает. Появляется рыцарь Трумвиль в образе изящного блондина, и пьеса идет своим ходом. Понемногу инцидент с Галкой забывается. Публика смеется уже пьесе.

Рыцарь Трумвиль, против ожидания, мил и забавен со своим застенчиво-угрюмым видом и угловатыми манерами провинциала, так подходящими к роли. Нет, он положительно создает даже тип. Это сюрприз, да еще какой приятный. Новая волна захватывает меня, и я забываю снова все: и зал, и публику, и Галкин неудачный выход. Мой голос звенит уверенно, задорно и весело. А когда мы оба прыгаем и скачем по диванам и креслам, спасаясь от мыши, весь зрительный зал сотрясается от смеха.

Занавес сдвигается под долго не смолкаемый гром аплодисментов.

– Bravo! Bravo! – доносится до нас из зала.

– Bravo! Bravo! – кидаются ко мне за кулисами Тимочка и Невзянский. – Вы настоящая актриса. Неужели играете впервые?

– Конечно, впервые.

Маша Ягуби жмет мою руку. Прибежавшая «из публики» Дина Раздольцева виснет у меня на шее.

– Дуся! Милочка! Вот удружила-то! Вот восторг!

И она скачет вокруг меня, забыв свое впервые одетое в шестнадцать лет длинное платье.

Приходят и «Солнышко», и мама-Нэлли к нам за кулисы.

– Хорошо! Молодцы оба! – говорит отец.

А мама-Нэлли, схватив нежной рукой мои плечи, отводит меня в сторонку.

– Прекрасно играла, моя девочка. Откуда такой навык и уменье?

– Не знаю, – говорю я простосердечно и целую ее розовую щеку.

За тяжелым занавесом в это время уже убирают и готовят для танцев зрительный зал.

* * *

Два месяца проходят незаметно. Белая пелена снега кроет и землю, и деревья. На большом озере, по примеру прошлого года, устраивается каток. Каток и ледяные горы. Но и то другое не для меня.

Рыцарь Трумвиль однажды сказал Брандегильде:

– Мне кажется, что скоро наш замок огласится звонким детским голоском, и судьба пошлет нам чудесную маленькую принцессу Трумвиль. Надо подготовиться достойно ее

встретить.

Радость охватила меня.

Наконец-то!

Мне захотелось визжать на весь «замок», закружиться и завертеться.

Маленькая синеокая (неприменно синеокая!) принцесса с черными локонами! Моя воплощенная мечта!

Да, теперь уже не до катка, не до лыж и не до верховой езды. Эта зима принесет мне иные радости.

В нашем «замке» появилась новая личность, бледная, худая, маленькая портниха Мариша. Из-под ее рук выходят такие чудесные вещи: кукольные чепчики, кукольные рубашечки, свивальники, кружевные одеяльца, достойные принцессы.

Я, разумеется, не могу, не умею шить, но я, пока она шьет, гляжу на нее и мечтаю. Мечтаю о маленькой синеглазой принцессе с черными локонами, о маленькой эльфочке, что таинственно спустится к нашему «замку» вся радостная, светлая, несущая счастье роду Трумвиль.

Неприменно принцесса. О принце я как-то и не думаю даже. Ее портрет перед моими глазами. Собственно говоря, это не портрет, а красивая гравюра с изображением очаровательной девочки, похожей на фею, розовенькую, синеглазую и чернокудрую фею.

– Мариша, – говорю я, приближаясь к портнихе, – скажите: это огромное-огромное счастье, не правда ли, иметь соб-

ственное дитя?

– О да, счастье, но только не для тех, у кого есть нечего!
Вон у меня их семеро. С ума сведут.

– О, какое варварство!

Я замираю, собираюсь в комочек, ухожу себя, вся моя радость исчезает мгновенно. Глаза испуганно поднимаются на мою собеседницу.

– Дети – радость жизни, – говорю убежденно и ухожу к себе в спальню.

Потом долго копошусь, выдвигая ящики комодов и шкафов, собираю старое платье, ненужные вещи и с целым ворохом возвращаюсь к Марише.

– Вот, возьмите это себе, перешейте для детей ваших. А вот и денег немного. Все это вам присылает будущая маленькая принцесса замка Трумвиль.

Она широко раскрывает глаза, ничего не понимая.

– Какая принцесса? Какой замок? – И вдруг вспыхивает до ушей. – Благодарю вас. Благодарю. Вы так добры.

– Совсем не добра. Нисколько. Я только хочу, чтобы маленькая фея-принцесса прилетела на землю, вся обласканная лучами всеобщей любви.

Слтай же скорее ко мне с далеких небес, моя голубая мечта, моя маленькая фея!

Ненастный зимний полдень. Туман повис над городом. Серые сумерки царят с самого утра. Рыцарь Трумвиль на службе. Мариша шьет, чуть слышно мурлыча под нос. Стучит ножная швейная машина в столовой. В гостиной, по обыкновению, топится камин. Перед камином разостлана мягкая козья шкура. На ней я и Мишка.

Мишка прикорнул поближе к огню. Я полулежу на белом меху, сияющая и притихшая, как это всегда бывает со мною при мыслях о принцессе. Но Мишка сегодня что-то беспокоен. Не урчит, а как-то ропщет, словно жалуясь; поглядывая на меня бегающими из стороны в сторону маленькими глазками. В них какой-то странный, беспокойный блеск. Недавно он поцарапал руку Корнелию, кучеру-солдату, и страшно ревел накануне над чашкой варева из овсянки.

Уходя сегодня на службу, рыцарь Трумвиль сказал, целуя мне руку:

– Не пускай в комнату Мишку, он что-то не нравится мне нынче, детка.

Но разве можно не пустить эту славную, переваливающуюся с ноги на ногу тушу в теплой шубе к огню, около которого он так любит понежиться. И потом, он так умеет слушать мои пылкие, восторженные рассказы о принцессе.

– Она будет синеглазая, светлоокая, – говорю я ему, – и

локоны у нее будут как тучки на небе. А губки... Ах, Мишка, Мишка, ты не можешь себе представить, какие у нее будут губки, – шепчу я, не сводя глаз с пламени, в котором, кажется мне, вот сейчас увижу мою очаровательную, маленькую девочку. Мишка, вся она будет как маленькое солнце. Вся подобная солнцу. Слышишь? И ты будешь играть с нею и возить ее на своей огромной спине.

Я перебираю теплую шкуру Мишки, а сама, не сводя глаз с пламени, начинаю шепотом импровизировать стихи, посвященные принцессе. С уст моих срываются рифмованные строфы, в то время как глаза прикованы к огню, а руки застыли на морде Мишки, который с тихим урчаньем, ласково, как собачка, лижет розовую ладонь своим шершавым горячим языком.

У тебя бархатистые кудри,
Ниспадают на плечи волной,
И сияет лазурным сияньем
Твой, как небо, глазок голубой.

Твои губки, как вишенки, рдеют,
И как жемчуг, зубенки горят...
Мое сердце дрожит и робеет,
Я уж вижу твой радостный взгляд...

Да, я его вижу, вижу! В ярком пламени камина синие глаза и румяные уста великолепной маленькой принцессы Трум-

виль.

Я снимаю руку с Мишкиной морды, не обращая внимания на его недовольный ропот, не замечая его пристально направленный на мою теперь алую, как кровь, от пламени камина ладонь взгляд, и опять отдаюсь охватившей меня волне вдохновения. И я импровизирую снова уже другое посвящение маленькой эльфочке, моей мечте.

Ты – мой ландыш белый, ландыш серебристый,
Майский, юный ландыш, свежий и душистый.
Ты – мой тополь гибкий, радостный и стройный,
От движений ветра тополь беспокойный.
Ты – мой светлый месяц, бледный и прекрасный,
Ты – мой луч востока, золотой и ясный,
Ты – моя улыбка, ты – мое дыханье,
Ты – моя надежда, счастье, упование.
Ты...

Смолкаю внезапно, ошеломленная. Страшный могучий рев заставляет меня содрогнуться. Передо мною на задних лапах стоит Мишка, с широко раскрытой пастью, с налитыми кровью глазами, с горячим дыханием, клубом вырывающимся изо рта.

Стоит, испуская дикий рев и потрясая обеими лапами. Жутко поблескивают его налившиеся кровью глаза.

Я испуганно вскакиваю с ковра и отступаю от обезумевшего медведя. Смутно проносится в голове отчаянная

мысль: «Борис на службе. Галки нет дома. Что можем сделать мы, две женщины, с рассвирепевшим зверем?»

Я мгновенно, к ужасу моему, догадываюсь об истине. Мишка ласкал мою руку, не отнятую мною по забывчивости, и, почуяв мясо и кровь под тонким покровом кожи, одичал, озверел, взбесился. Об этом не раз предупреждал меня муж, но я не хотела этому верить, смеялась, не придавая значения его словам. И вот теперь... Неужели расплата?!

Я пячусь к двери. Хватаю стул и ставлю его перед собою. Но что значит такая маленькая преграда для пробудившегося инстинкта хищника!

Медведь бросается ко мне, как щепку, отбрасывает стул и обхватывает меня своими огромными лапами.

Теперь я чувствую его горячее дыхание на своем лице, его запах, особенный специфический запах хищного зверя, и с последним отчаянием бросаю остановившемуся, заглодевшему сердцу:

– Великолепная маленькая принцесса, прощай! Мне не увидеть тебя никогда в жизни!

* * *

Страшные лапы сжимают мои плечи. Налившиеся кровью глаза беспокойно мечутся под моим взглядом. Как будто смутно борются последние сознательные инстинкты в душе зверя. Быть может, страшно восстать против человека. Но ин-

стинкт побеждает. Медвежья лапа угрожающе заносится над моей головой.

И в тот же момент я, как в тумане, вижу вбежавшего Бориса, его бледное, перекошенное ужасом лицо и какую-то блестящую вещь в его вытянутой руке.

Рука с блестящей вещью быстро приближается к уху медведя. Гулко раскатывается выстрел по всему «замку», и в тот же миг темные, остро пахнущие, смертельные объятия одичавшего зверя оставляют меня.

Сраженный пулей, медведь с легким шумом валится на пол посреди гостиной.

* * *

– Котик милый! Детка! Дорогая детка! Ты смертельно испугалась, да?

Я вижу перед собой ласковые черные глаза Бориса, его встревоженное лицо, побелевшие от волнения губы. Ах, значит, я спасена, я увижу мою маленькую принцессу! Увижу! Какое счастье!

Но вдруг взгляд мой падает на неподвижно лежащее посреди гостиной тело Мишки. Четко представляется вытянутая рука с блестящим револьвером и выстрел, ужасный выстрел! И внезапная жалость, смешанная с ужасом, заливают все мое существо.

– Зачем, зачем ты убил его! Я его так любила!

И, вскочив с дивана, я бросаюсь к моему поверженному врагу, обнимаю руками его мохнатую шею и, вся дрожащая и взволнованная, отрывисто лепечу:

– Зачем ты убил его, Борис? Это жестоко! Бесчеловечно! Зачем ты его убил?

Несколько мгновений он смотрит на меня расширенными от изумления глазами. Затем пожимает плечами, и глубокая морщина прорезает его лоб.

– Что же, ты предпочла бы, чтобы он задушил тебя насмерть, этот взбесившийся зверь?

Я молчу мгновение, сраженная, уничтоженная его здоровой логикой. Но в глубине моего сердца – протест. Разве нельзя было поступить иначе? Оттолкнуть, оглушить ударом зверя, что ли? Ведь Борис такой сильный. Но не убивать, только не убивать! И срывающимся от волнения голосом я высказываю это мужу.

И вот я вижу его темнеющее лицо, гневные искорки, зарождающиеся в глазах, угрюмый взгляд, каким он никогда еще не смотрел на меня прежде.

– Борис, что с тобою?

– Ты рассуждаешь, как безрассудное дитя, как самая маленькая девочка, – отвечает он мне недовольным голосом. – Надо было выбирать одно: или видеть тебя растерзанной, или убить взбесившегося Мишку. А впрочем, не пришлось бы прибегать к этому, если бы ты была благоразумнее и не пустила его в комнаты, как я и просил.

Это звучит уже упреком. И недовольством, гневом и холодностью веет от него. Это уже слишком. Брандегильда – продукт сказки и рождена для того, чтобы видеть одну радость – сказку от того, кого сделала избранником своей души. И его строгий тон коробит ее.

Я замыкаюсь. Молчу, опустив глаза, и, немая, далекая, ухожу в свою комнату, предоставляя рыцарю Трумвилю и его оруженосцу заняться убитым зверем. А в сердце нарастает какая-то холодная тоска...

* * *

Бегут дни, однообразные и скучные. Борис служит, занимается со своими солдатами, по вечерам приходит усталый, посидеть на белой тибетской шкуре перед пылающим камином, и ждет. Ждет, чтобы я опять ласково и по-доброму, как раньше, заговорила с ним, поведала ему свои мечты о маленькой принцессе, которую мы ждем скоро, очень скоро, через какой-нибудь месяц. Но сам не заговаривает первый.

И я молчу. Я не могу быть радостной, когда у меня такая тяжесть на душе. Мне жаль, бесконечно жаль убитого Мишку. Я все думаю о том, неужели же нельзя было поступить иначе? Неужели это справедливо – погубить одним выстрелом беззащитного зверя? О том, что беззащитный зверь был во всеоружии своей силы, я как-то не думаю. Мне мучительно жаль забавного, милого, славного Мишука, и только.

Теперь все мои стихи посвящаются «убитому другу». Я варьирую эту тему на несколько ладов. Потом пишу легенду о доверчивом лесном звере, погибшем от руки человека. Я стараюсь как можно тщательнее отделать ее и просиживаю над нею целыми днями.

С Борисом говорим только о пустяках, о делах, хозяйстве, о преданности и глупости Галки, о том, как трудно объездить верховых лошадей, Красавчика и Бегуна, под упряжку. Но о «замке Трумвиль», о сладких мечтах про принцессу или об убитом Мишке – ни слова.

Прощай, моя пестрая сказка о Трумвиле!

* * *

У меня появилась тайна, в которую посвящены лишь двое: Галка и я.

Пока Борис на службе, я исписала несколько листов своим крупным мальчишеским почерком, вложила их в огромный конверт, написала на нем адрес и большими буквами поставила «заказное». Это письмо – мой смелый и дерзкий замысел. Я думаю о нем все время, пока Галка шагает по снежной дороге в городской почтамт.

В большом конверте запечатана моя легенда о медведе. Я отправляю ее в редакцию одного из петербургских журналов, за полной моей подписью, не скрывая даже адреса, написанного мною неверной рукой внизу легенды. Будь что

будет: или пан, или пропал. Если легенда будет принята, то, значит, у меня есть крохотная искорка таланта, и тоненькая Брандегильда из замка Трумвиль быть может сделается писательницей. Но если поражение – какой ужас! Маленькая принцесса Трумвиль, моя еще не воплотившаяся мечта, твоя мать окажется тогда самую обыкновенную из смертных! Это ужасно для тщеславной души бывшей Лиды Воронской.

В письме, которое я прилагаю к легенде, я прошу редактора журнала непременно ответить мне письменно, каков бы ни был результат, и притом как можно скорее, причем прилагаю марку на ответ.

Сердце мое то бьется усиленно, то сжимается, как в тисках. Сегодня я не нахожу себе места. Даже мечты о маленькой принцессе не развлекают меня.

Шаги Бориса выводят меня из задумчивости. Ему я не скажу ни слова, ни единого слова о моей тайне, пока не выяснится так или иначе результат отосланного письма. Да и к тому же он как-то странно и хмуро поглядывает на меня после злополучного дня гибели Мишки. И сейчас лицо его сумрачно, когда он входит в комнату.

Но что с ним? Какой он бледный, смертельно бледный! Что случилось?

Трепет охватывает меня. Предчувствие беды проскальзывает к самому сердцу.

– Говори скорее, что случилось?! – кричу я.

– Только не здесь. Не здесь – пойдем к «нам». У «нас»

всякое горе переживается как-то легче.

Значит, что-то случилось, если надо идти «туда, к нам». Во все необычайные минуты жизни мы «туда» уходим. Там наше царство. Это самый отдаленный, никем почти не посещаемый уголок парка, который Борис приказал своим солдатам расчистить. Там шумят вязы и стоит скамейка, чудесно спрятанная между заиндеветшими в зимнее время деревьями. Там прыгают желтые белки и гудит ветер, совсем как в настоящем лесу. Это наше «царство». Сюда мы приходим, когда случается что-нибудь из ряда вон выходящее.

И сейчас я натягиваю теплые ботинки, надеваю шубку и спешу туда с молчаливым Борисом.

Вот они, старые вязы, покрытые теперь густым белым слоем снежной пудры. Вот скромно приютившаяся под ними скамейка.

– Сюда, Борис! Скорее сюда!

Я чувствую, что сейчас должно произойти что-то непоправимое, большое и грустное. И, тяжело дыша, гляжу в лицо моего спутника.

И вот оно, это страшное, разразилось над моей головой. Мне кажется, что это сон.

Борису предстоит отъезд по службе в северную, глухую часть Сибири, в самые отдаленные места, где нет не только железных дорог, почты, телеграфа, но где вообще почти нет человеческого жилья – одна лишь непроходимая тайга. Там он останется на целых три года. Зачем? Почему? Я, несмот-

ря на его объяснения, не могу понять. И мне никак нельзя сопровождать его, нельзя уже потому, что маленькая принцесса, появления которой мы ждем со дня на день, не сможет перенести всех ужасов северной зимы, не говоря уже о долгой дороге.

– Отказаться мне, конечно, нельзя, как бы ни хотелось именно теперь остаться здесь, чтобы дожидаться появления нашей «принцессы», – говорит Борис, – но я вернусь через три года, детка, когда наша «принцесса» будет бегать и лепетать. А пока ты поселишься с нею в твоей девичьей комнате, под крылышком твоего «Солнышка», который, я уверен, сохранит вас обеих для меня.

Его голос звенит предательски, и я вижу блещущий глазами черный угрюмый взгляд. О, как я была несправедлива к нему, обвиняя его в жестокости.

– Боря! Это ужасно, Боря! Три года! Три долгие года мы будем одни! Бедные Брандегильды, большая и маленькая! Две бедные, в сущности обе маленькие Брандегильды! Опустеет сразу замок Трумвиль!

Я заговариваю об отмене, о просьбе послать вместо Бориса другого офицера на север.

Но он изумленными глазами смотрит на меня.

– Подумала ли ты, котик, что говоришь? Разве зря меня посылают? Это нужно, и долг службы требует беспрекословного исполнения данного мне поручения. Ты забываешь, что я офицер.

Да, он прав, безусловно прав. Он, Борис, суровый исполнитель своего долга, каким я его знаю, не может отказаться, просить об отмене данного ему поручения. Служба, долг Отечеству, присяга у него на первом плане.

– Детка, – говорит он, – было бы во сто крат ужаснее при другом несчастье, которое нельзя было бы предотвратить: могла бы быть война...

– Молчи! Молчи! – кричу я. – Когда ты вернешься, – говорю я, – у «нее» будут уже локончики до плеч, и «она» научится лепетать так мило...

И сердце мое дрожит.

– И «ее» будут звать Лидой, как и ее маленькую маму, – вторит он мне.

– Ах, нет, лучше Кирой, Ириной, Ниной или Ларисой.

– Лучше Лиды нет имени на земле! – слышу я безапелляционный ответ.

– Неправда. А впрочем, как хочешь. А только, Боря, неужели же три года? Целые три года?

Мы смолкаем и сидим притихшие, как мыши. Старые вязы скрипят. Ветер гулко гуляет по чаще. Солнца нет. Нет радостного солнца и в наших сердцах.

Потом я начинаю говорить о мой тайне. Мне хоть чем-нибудь хочется утешить его и себя. Я заявляю ему, что Брандильда – писательница. Не правда ли, милый рыцарь Трумовиль, как это забавно?

Но он не находит это забавным, ничуть. Восторгом горят

его глаза, с гордостью смотрит он на меня таким взглядом, точно я царица, и шепчет:

– О моя маленькая Брандегильда! Как мы все-таки счастливы с тобой!

* * *

Отъезд рыцаря Трумвиля назначен весной. И мы с будущей маленькой принцессой не сможем проводить его даже до места назначения. Длинная дорога не для такой малютки.

Ответ из редакции приходит раньше, нежели мы оба его ожидали. Объемистый конверт с адресом отправителя на лицевой стороне. Декабрьское солнце горит на его зеленоватых буквах. Сердце мое внезапно падает и замирает, когда взгляд мой примечает его на столе. Меня шатает от волнения, когда я подхожу к письменному столу, куда обыкновенно кладет корреспонденцию аккуратный Галка. Дрожащими руками раскрываю конверт и вынимаю оттуда розовый листок письма.

Сначала глаза мои ничего не видят. Я напрягаю зрение. За моим плечом Борис волнуется не меньше меня. И вдруг он вскрикивает громко:

– Ура! Детка, ура! Легенда принята и одобрена. Да здравствует маленькая Брандегильда! Да здравствует замок Трумвиль!

Все плывет передо мною в розовом тумане: и большая

комната, залитая декабрьским солнцем, и счастливое письмо, и лицо Бориса. И я визжу на весь замок, как, бывало, визжала в детстве, забыв мои почтенные восемнадцать лет.

* * *

Борис помчался в Петербург в редакцию «Взора», чтобы повидать того доброго чародея, который прислал такое славное письмо. Надо же переговорить серьезно о размере «таланта» тоненькой Брандегильды, о том, где и как ей продолжать работать впредь. Ах, да мало ли о чем надо переговорить! Вернется он из города поздно вечером.

Я сижу и думаю: надо побывать у «Солнышка» и рассказать ему и маме-Нэлли о моей первой литературной удаче. Или не говорить? Не лучше ли просто послать им легенду в напечатанном виде, когда номер журнала появится в свет? То-то будет сюрприз и радость для «Солнышка»! Его дочь, его Лидюша – писательница! Поэтесса! Конечно, сюрпризом лучше. Только сумею ли я умолчать?

Ах, как все-таки долго тянется время! Чтобы развлечь себя, спускаюсь в кухню. Там Доротея мелет на машинке котлеты.

– Вы устали, Доротея, я вам помогу.

Чтобы убить время, принимаюсь делать котлеты. Насыпав добросовестно сахарного песку вместо соли в телячье мясо (ведь поэты забывчивы и рассеяны, как никто), не выдержи-

ваю и говорю Доротее:

– А я ведь писательница, Доротея. Вы знаете?

Она улыбается:

– Вот как. И деньги за это получите? Деньги?

Какая проза. Фи! Но чтобы поддержать свое реноме, отвечаю:

– Понятно. Даром никто не пишет. И если буду много писать, то и денег получу много, очень много.

– Вот это хорошо, – соглашается она, ослабившись. – Пишите, милая барыня. У меня брат тоже писатель. В главном штабе служит писарем – это ведь все равно. И все он пишет, все пишет, да красиво так. Только мало за это получает что-то. Хотя генералы даже одобряют его очень. «Хороший почерк, Лупкин, у тебя», – говорят.

О варварство! Она смешивает писаря с писателем! И приготовление котлет перестает меня интересовать. Оскорбленная, поднимаюсь по лестнице наверх, в «жилое помещение замка».

– Галка, – говорю я верному оруженосцу мужа, занятому сейчас чисткой замков у дверей, – ты скажешь в восемь часов Корнелию запрягать Бегуна. Я барина встречать поеду.

– Слушаю-с. А только, ваше высокородие, Корнелий не при своих чувствах.

– Болен?

– Так точно.

– Что у него?

– Не могу знать.

– Голова болит?

– Так точно.

– Может быть, зубы?

– Так точно.

– Или желудок?

– Так точно.

– Значит, все?

– Не могу знать.

– Фу, ты какой! – начинаю я раздражаться. – И всегда ты был таким, Галка?

– Не могу знать.

* * *

Наконец-то вечер. Бегун уже ржет у крыльца и нетерпеливо взрывает снег копытом. Борису стоило много труда выехать под упряжь эту горячую лошадку. На козлах вместо Корнелия – Галка. Корнелий болен, и я его отпустила с миром.

– Ну, Галка, с Богом! – говорю я, садясь в сани. – Поскорее только вези, голубчик.

– Так точно! – И он трогает вожжами.

Бегун берет с места, мы несемся.

В то время как сани скользят по дороге, я уже создала в моей голове целое будущее, такое волшебное и прекрасное. Рыцарь Трумвиль в отсутствии. Его Брандегильда работает, пишет, шаг за шагом пробивает себе путь к известности, к славе. А крошечная Брандегильда растет, поднимается среди всеобщего обожания. Когда возвращается рыцарь Трумвиль, Брандегильда встречает его в лучах славы. Она заставила трепетать людские сердца. И гордый ее величием, рыцарь Трумвиль преклоняет перед ней колени.

– Что с тобой, Галка? Что ты мечешься то вправо, то влево? Бери правее, правее бери!

Сани бросаются из стороны в сторону. Бегун испускает пронзительное ржанье.

Я быстро приподнимаюсь с сиденья и холодею. Прямо на нас несется огромная черная лошадь, запряженная в сани.

– Правее! Держи правее, Галка! – едва успеваю я крикнуть.

И в тот же миг толчок. Оглобли наших саней раскалываются надвое, и черная голова лошади появляется как раз передо мною. Последнее, что я вижу, – это жуткие огненные глаза и клубы пара, выходящие из красных ноздрей. Слышу громкие крики Галки и еще кого-то. Затем падаю без чувств.

* * *

Чужая взбесившаяся лошадь врезалась в наши сани, сокрушила их, выбросив меня на землю. И это послужило началом тому страшному обмороку, который длился три долгих дня и три ночи подряд.

Приходя в себя, я видела склоненные надо мною встревоженные, бледные лица Бориса, мамы-Нэлли, «Солнышка» и еще какую-то белую фигуру с грустным усталым незнакомым лицом. И потом снова наступал ужас: черная лошадь с огнедышащими ноздрями...

* * *

На четвертые сутки я открыла глаза. И первое, что я заметила, – это незнакомую, всю в белом женщину с усталым грустным лицом.

Она протягивает мне что-то маленькое, хрупкое, завернутое в одеяло, крошечный сверток, похожий на завернутую куклу.

– Вот вам ваш маленький мальчик. Поздравляю вас, юная мать; ребенок здоровенький и славненький на диво.

– Что?! Какой ребенок? Какая мать?

Я ровно ничего не понимаю, хотя сердце мое бьет тревогу

и дух захватывает в груди от блаженного предчувствия. И вдруг я догадываюсь и вся содрогаюсь от острого прилива счастья.

– Маленькая принцесса! Она здесь! Она явилась ко мне, наконец-то, моя олицетворенная, светлая мечта!

– Не принцесса, а принц, – поправляет меня с милой улыбкой та же белая женщина.

– Принц? О принце я не думала как-то. Я ждала принцесу, но... Дайте мне его! Дайте моего маленького принца!

И я принимаю в объятия мое новорожденное дитя. На моих руках живой, трепещущий комочек во фланели, батисте и шелку. Красное, потешное сморщенное личико и крошечные светлые глазенки. А на полуголой крошечной голове мягкие, как лен, белокурые кудрявые волосики. Совсем не то, чего я ждала, что создавала в своем воображении, но вдвое дороже и милее того, что дарила мне моя яркая мечта. Принц или принцесса, мальчик или девочка – не все ли равно! Я одинаково безумно люблю как того, так и другого, люблю тебя, мое дорогое дитя.

Здравствуй же, новый маленький хозяин нашего «замка», мой прелестный маленький принц, здравствуй!

И, осыпав поцелуями сморщенное личико, я передаю мое сокровище подросшему Борису и опускаюсь головой на подушки, отягощенная сладким бременем счастья, того счастья, о существовании которого я и не подозревала до сих пор. Его принес мне с собою этот крошечный ребенок с лья-

ными кудрями и потешным сморщенным личиком. Его принесло мне мое обожаемое дитя.

* * *

Весна. Сирень в цвету. Я провожу эту весну одна, и уже не в «замке», а в квартире моего отца. Рыцарь Трумвиль далеко. Но маленький принц со мною. Мы устроились в моей старой девичьей комнатке, я и «он» – моя прелесть, мое сокровище, мое дорогое дитя. Кормилица Саша, румяная, здоровая толстушка, спит в маленькой горнице рядом. Живем все трое у «Солнышка»: я, маленький принц и она.

А из далекой Сибири от Бориса приходят письма, длинные, подробные, наподобие дневников. Из них я узнаю, как он живет, как проводит время. И я читаю их маленькому принцу, хотя он не понимает ничего.

Какой он прелестный и забавный, мой маленький принц! Весь дом занимается им. Даже его маленькая тетка, которой только минул год, и та проводит целые часы в его обществе, забывая о своих игрушках. Но ласкать его могу только я одна. И мыть, и купать, и пеленать тоже. Я ревную его ко всем, кто прикасается к нему. Я делаюсь несносной, когда Саша слишком долго и много целует его. Ведь он мой, только мой, этот маленький принц, и мне принадлежит он, такой славенький, нежный и кудрявый.



Незаметно подкрадывается лето. В парке я провожу все свое время с маленьким принцем и с Сашей. Теперь я уже не пишу стихов, не до стихов мне. Материнские заботы точно лишили меня вдохновения, и я как будто не чувствую более потребности изливать мои мысли и чувства в стихах. А заставлять себя писать, то есть писать без вдохновения, быть просто ремесленницей пера, строчить только для того, чтобы получать от редакции вознаграждение за написанное, – я не могу, не умею и не хочу. К тому же стихи приносят так мало, одни гроши. Этих грошей недостаточно для того, чтобы существовать, чтобы поставить на ноги моего малютку. А мне так хочется окружить полным довольством его колыбель, не только довольством, но и роскошью. Чем же достигнуть этого и как?

Скудного офицерского жалованья Бориса не хватает. К тому же ему там, в Сибири, самому нужно много. Необходимо подумать, как бы самой заработать, не нуждаться в средствах мужа.

Но это очень нелегко.

В учительницы я не гожусь; к медицине – не чувствую призвания; поступить куда-нибудь на службу и отсиживать определенное число часов за работой – тоже не в моем характере, на это я, при моей живой, нервной натуре, не спо-

собна совсем.

Я перебираю все доступные женщинам профессии и не могу остановиться ни на одной.

Долгими часами я ломаю голову над тем, как устроить мое будущее, и беседую на ту же тему с Варей, которая теперь уже самым серьезным образом собирается уйти в монастырь.

И вот наконец новая мысль пришла мне в голову, когда я меньше всего ожидала того, что решило мою судьбу.

На берегу синего озера царскосельского парка, где плавали белые лебеди, гордо выгибая царственную шею, мы были все трое: я, мое сокровище в своей маленькой коляске и Саша.

Я опустила только что прочитанный том Некрасова на колени и тихо, с глубоким чувством продекламировала мои любимые некрасовские стихи, его незабвенную поэму о русских женщинах, княгинях Трубецкой и Волконской, – поэму, которую знаю наизусть с дней института. Я живо представила себя на месте одной из несчастных героинь поэмы. И словно крылья гигантской птицы подхватили меня и как тогда, в вечер спектакля, понесли куда-то далеко, далеко. И в душе моей загорелась смутная мечта сделать мою жизнь прекрасной, полной смысла и красоты, во имя маленького принца и ради его благополучия и счастья. Я давно чувствовала какое-то, для меня самой странное, мне самой непонятное, влечение к сцене, к театру.

У меня сложилось убеждение, что нет светлее и благород-

нее дела артиста, который воплощает и изображает людское горе, людские радости, людские слабости и порывы, который наглядно рисует нам жизнь, объясняет ее и открывает ее самые сокровенные уголки, заставляя зрителей то волноваться, то печалиться, то радоваться, соответственно изображаемым явлениям жизни на сцене театра.

Какое искусство, думала я, может сравниться с театром и сценой!

Я вспоминала, как восторженно приводил нам Чудицкий в институте, на уроках словесности, слова великого Белинского о театре и его значении, вспоминала, что уже тогда у меня смутно являлось какое-то странное влечение этому роду искусства.

Но только теперь, впервые, сознательно, под влиянием дивных некрасовских стихов, под навеянным ими порывом, созрело решение посвятить себя театру, сцене.

– Поступлю в театральную школу, на драматические курсы, постараюсь всеми силами как можно лучше изучить искусство, подготовлюсь, чтобы стать достойной звания артистки – актрисы! А затем буду служить. Служить на сцене в какой-либо драматической труппе, буду сама зарабатывать, буду сама добывать средства к жизни моей игрой...

И эту, внезапно родившуюся, мечту я решила осуществить во что бы то ни стало. А решив, немедленно же приступила к ее осуществлению.

Я съездила в Петербург, узнала подробно, могу ли я быть

принята на драматические курсы, дает ли мой институтский аттестат право на поступление туда, требуется ли экзамен, а главное, сколько лет придется учиться и могу ли я впоследствии рассчитывать на более или менее прочный заработок. И, еще раз тщательно обдумав все, сообщила о своем намерении своим. Как я и предвидела, мое решение буквально ошеломило всех. Мне сначала не поверили, думали, что я шучу.

– Неужели ты оставишь твоего ребенка, чтобы стать актрисой! – воскликнула мама-Нэлли.

– О нет! Нет! – протестовала я, – его я не оставлю никогда. Ради него-то я и хочу служить, работать, добывать себе положение. С ним я поеду учиться. С ним и для него – везде и всюду, не разлучаясь с моим крошкой ни на один день!³

* * *

– Итак, моя Лида, ты это решила бесповоротно?

– Да, «Солнышко», да. И не сгоряча решила, а долго-долго и серьезно обдумывала мой шаг. Я должна это сделать, ради себя и ради моего ребенка.

– Подумай, дитя, что ждет тебя впереди! Сколько волнений и бурь!

– Тем достойнее будет победа, мой дорогой папа, если

³ См. повесть «Цель достигнута».

только мне удастся достигнуть чего-нибудь.

– Но та жизнь, которую ты выбираешь и на которую идешь, дитя, она трудна и непосильна такому юному существу, как ты.

– О, этого я не боюсь, «Солнышко»! Я хочу, я желаю работать – и трудности меня не пугают. Удастся ли мне выдвинуться в первые ряды, я не знаю. Но если даже я останусь только скромной, незаметной труженицей на избранном мною поприще, я буду вполне довольна этим. Не жажда блеска, славы толкает меня, а искренняя горячая любовь к избранному делу и еще любовь к моему ребенку, которому я хочу сказать: «Твоя мама работает для тебя, для твоего благополучия». А быть может, – кто знает? – мне удастся достичь и того, что он, мой мальчик, будет иметь право гордиться своей мамой.

– Дитя! Дитя! Ты живешь в каком-то мире сказок. Витаешь в облаках. Но жизнь не сказка. Тебе трудно будет в эти три года, в ожидании мужа, привыкать к новой обстановке, к усидчивой работе и к чужим людям. Останься лучше с нами. Мы так любим тебя, и твоего маленького принца тоже. Скажи, чего недостает тебе? Здесь тебя балуют, лелеют. Ты не нуждаешься ни в чем. Останься, милая, останься!

Голос моего отца дрожит от волнения.

– Ах, не то, «Солнышко», не то! Ты не понимаешь меня: я действительно живу в мире сказок, и моя фантазия необъятна, как мир. Ты лелеешь, балуешь меня и моего ребенка,

ты даешь мне деньги, кормишь нас, содержишь, мы живем у тебя. Но меня не удовлетворяет такая жизнь, полная бездействия и беспомощности перед ребенком. Мне хочется завоевать положение собственными усилиями, своим трудом, способностями и, когда Борис вернется быть настолько подготовленной и сильной, чтобы работать для благополучия моего сынишки наравне с ним и иметь возможность ткать пряжу счастья для моего принца. Ты понял меня, папа?

Да, он понял, потому что печально затуманились его глаза и грустная улыбка тронула губы.

– Но от меня ты не откажешься принимать помощь хотя бы первое время, пока удастся тебе достичь того, о чем ты мечтаешь? Не правда ли? – тихо осведомляется отец и сжимает мою руку.

– О, благодарю тебя, дорогой! Пока я не оперилась и мною ничего еще не достигнуто, мне нужна твоя поддержка. Но только на это время, а потом я сама, сама должна работать на себя и на моего сына.

Отец широко раскрывает объятия. Я бросаюсь в них и замираю у него на груди.

– Итак, мне остается лишь пожелать, чтобы твои горячие мечты сбылись, чтобы ты достигла того счастья, о котором так мечтаешь, достигла намеченной цели, – заключает он.

Во имя благополучия маленького принца я добьюсь своей цели!

Весь дом в смятении, когда я уезжаю. У «Солнышка» бледное, встревоженное лицо. У мамы-Нэлли покрасневшие от слез глаза.

А письмо Бориса, полученное накануне, полно мольбы не принимать опасного решения.

Но ничто уже не в силах меня удержать. «Опасное» решение в том, что я не хочу жить, как другие, не хочу, чтобы только один «рыцарь Трумвиль» зарабатывал деньги для маленького принца, хочу, чтобы и моя лепта была вложена в его воспитание.

И еще хочу, чтобы маленький принц гордился своей мамой! Пусть для этого надо учиться целые годы, – чего-нибудь да добьюсь!

И я стараюсь не глядеть в печальные лица близких, стараюсь быть бодрой и сильной.

– Останься! Останься с нами!

– Нельзя, милые, нельзя! Не бойтесь за меня, не бойтесь! Моя путеводная звездочка будет светить мне в трудную минуту. Мой белокурый маленький принц будет со мной!

И, распроставшись с моей семьей, пообещав навещать их часто-часто в свободные от занятий дни, я с маленьким принцем и его кормилицей Сашей уезжаю туда, куда зовет меня моя смелая мечта.

Я в Петербурге. Небольшая, очень скромно убранная комната. Два окна приходится в уровень с землею. Они точно две маленькие двери, выходящие в сад. Недалеко от окон – каменная ограда. Дальше – белая церковь с золотыми куполами, которые можно видеть, только до половины высунувшись из окна. Усыпанная песком дорожка бежит желтою змейкой вдоль маленького палисадника прямо к белой церкви.

Колокола звонят. Завтра праздник.

Тихий вечер. Сумерки бесшумно скользят над землей. Белая церковь, белая ограда, кусты сирени и этот, еще полетнему убранный палисадник – уютный уголок природы, здесь, среди душных каменных пыльных громад. Мои глаза скользят по комнате. Еще не распакованы корзины и сундуки. Кое-как, наспех, расставлена мебель. Мы только сегодня приехали в этот мирный уголок, состоящий из двух комнат с окнами в палисадник, примыкающий к скверу, с крохотной кухней и единственным ходом во двор.

Я стою у окна. Сердце стучит. Смутные мысли роятся в голове. Вереницы людей, образов, картин и событий встают и чередуются передо мною. Я вспоминаю о детстве маленькой принцессы из Белого дома, о бедовой мечтательнице и шалунье, доставлявшей столько хлопот другим, о высокой кудря-

вой девочке Лиде-институтке с пытливыми глазами и жадно ищущей душой; наконец, о Лиде-девушке и Лиде-женщине, о ее светлых радостях, о том большом и страшном, что избрала она на пути своей жизни.

Да, нелегко юному, своевольному, избалованному жизнью существу победить себя. Нелегко начинать настоящую жизнь.

И все-таки в глубине моей души царит торжество победы над самой собою. Мне кажется сейчас, что там, за белой оградой, ярко загорается моя гордая и счастливая звезда.

* * *

Направо от меня – неплотно прикрытая высокая дверь и тихие звуки. Легкий звенящий скрип и монотонные, как вечерний прибой, чуть слышные напевы. И еще звуки. О, какие они сладкие! Точно вздохи лесного ветерка в густой чаще деревьев.

Милые звуки!

Голос за дверью поет-выпевает:

Фонарики – сударики

Горят себе, горят.

Что видели, что слышали,

О том не говорят...

Там, за неплотно прикрытою дверью, – царство маленького принца. Там, за этой неплотно прикрытой дверью, в голубой колыбели-колясочке, среди голубых же бантов и кружев, среди паутинки белья, – там мой принц.

Белокурый маленький принц со светлыми глазками, с беззубым еще ротиком и личиком куклы.

Если распахнуть высокую смежную дверь, то можно увидеть небольшую комнату, освещенную сейчас мигающим светом лампы, голубую колясочку-колыбель, раскачиваемую плавными методичными движениями.

Принц спит, как и подобает спать маленькому принцу. Кормилица Саша затягивает уже другую песню:

Уж как Юрик,
Милокурик,
Станет в бархате ходить,
Злато, серебро носить...

Незатейливая песня, но льется она из глубины простой, доброй души.

* * *

Сегодня – великий день для меня, вскоре – день решающий. Что-то даст мне оно, это «вскоре»?!

Я решила твердо, и отступления с намеченного пути уже

быть не может.

Для него, для моего маленького принца, должна я жить и работать отныне, для малютки-сына, беззащитного и слабенького, который всем своим крошечным существом принадлежит мне, только одной мне.

Для него и для моей смелой, дерзкой красивой мечты, для того прекрасного, светлого искусства, любовь к которому я бессознательно таила в детстве и вечной красоте которого рвусь служить теперь.

Но прежде всего я – мать, девятнадцатилетняя мать, и должна приложить все старания, все усилия, собрать всю крепость, всю энергию моего существа, чтобы создать маленькому принцу безоблачное детство, светлую юность, чтобы вся его дальнейшая жизнь, будь она нерадостна даже, сохранила на себе отблеск его зари.

Когда-то я сама была маленькой принцессой Белого дома. Мое детство протекло подле доброго волшебника и любящих фей – моего отца и теток. И я благословляю его – мое детство.

Около тебя, мой любимый, нет ни доброго волшебника, ни сказочных фей, нет того уюта и удобства, нет того комфорта и довольства, которыми пользовалась в детстве я, твоя мать.

Но клянусь вам, мои светлые глазки, клянусь тебе, ненаглядная, милая кудрявая головка, единственное незаменимое сокровище мое, что заменю тебе и благодетельного вол-

шебника, и добрых фей, и всю мою жизнь посвящу тебе, твоему счастью, твоим радостным дням, ненаглядный.

В этот сентябрьский вечер, в первый вечер моей самостоятельной жизни, я даю тебе мое слово, любимый, сделать счастливыми твое детство, отрочество и юность, насколько это зависит от меня.